

**КНИГОЛЮБЫ,  
УЧАСТВУЙТЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КНИЖ-  
НОЙ ЛОТЕРЕЕ!**

Книгу можно не только купить, но и приобрести по выигрышному билету Всероссийской книжной лотереи из наличного ассортимента книжных магазинов или киосков.

Вероятность выигрыша велика, так как 90% от суммы реализованных билетов идет на выигрыши.

Стоимость билета 25 копеек, а сумма выигрыша (50 копеек, 1, 3, 5 рублей) указана на внутренней стороне запечатанного билета.

Если суммы выигрыша не хватает для приобретения выбранной вами книги, можно произвести доплату наличными деньгами.

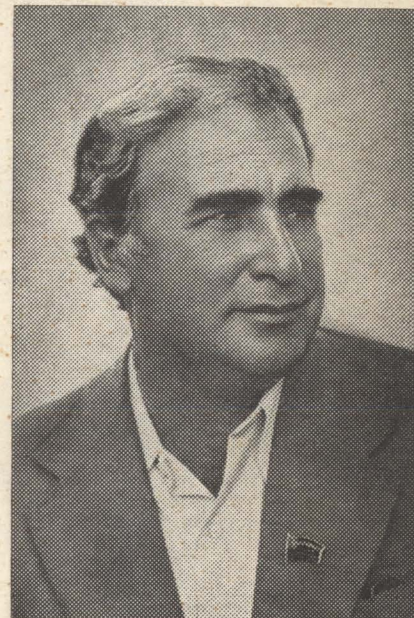
Прочитанные книги вы можете продать книжным магазинам. Этим вы окажете добрую услугу другим книголюбам.

**Росглавкнига  
Дирекция Всероссийской  
книжной лотереи**



№ 52

1982



*Нодар ДУМБАДЗЕ*

М О С К В А  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«П Р А В Д А»

**ХАЗАРУЛА**

Нодар ДУМБАДЗЕ

# ХАЗАРУЛА

РАССКАЗЫ

*Перевод с грузинского*  
*Н. МИКАВА и М. ТКАЧЕВА*

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1982

## Нодар ДУМБАДЗЕ

Известный грузинский писатель Нодар Владимирович Думбадзе родился в 1928 году в Тбилиси в семье служащего. В 1944 году вступил в комсомол. В 1950 году он окончил экономический факультет Тбилисского государственного университета.

Литературную деятельность Нодар Думбадзе начал как поэт. Первые его стихи были опубликованы в 1949 году в литературном альманахе университета «Пирвели схиви» («Первый луч»).

В 1956—1967 годах в серии библиотеки журнала «Нианги» («Крокодил») вышли три книжки юмористических рассказов писателя: «Внимание, начинается зарядка!», «Да здравствует Гигило!» и «Гладиатор», а в конце 1957 года в молодежном журнале «Цискари» («Заря») был опубликован первый его роман «Я, бабушка, Илико и Илларион», который сразу стал не только популярным, но и любимым романом у советских читателей.

После этого один за другим последовали принесшие писателю еще большую известность «Я вижу солнце», «Не бойся, мама», «Белые знамена» и, наконец, «Закон вечности», которому была присуждена Ленинская премия. За все эти годы периодически появлялись также книги его замечательных рассказов.

А в 1978 году строители Нурекской ГЭС назвали «Закон вечности» лучшим романом года и удостоили его своей рабочей премии.

Нодар Думбадзе является лауреатом премии ЦК ВЛКСМ и Государственной премии имени Шота Руставели. Писатель награжден орденом Трудового Красного Знамени.

## ХАЗАРУЛА

Помню в четырнадцать лет впервые заговорил я с деревом. Самому-то дереву давно уж перевалило за шестьдесят, точь-в-точь как моей бабушке. Это была яблоня, и звали ее Хазарула.

А раньше, бывало, бабушка каждую зиму привозила яблоки Хазарулы в Тбилиси. С первым утренним поездом приезжала она в город и мчалась с вокзала к нам, румяная, цветущая, благоухающая пряными запахами деревни. Обнимала меня, крепко прижимая к груди, потом бросала мне прямо в постель холодное неказистое — величиною с кулак — яблоко, приговаривая:

— Держи-ка, нена <sup>1</sup>, гостинец от Хазарулы с нашего двора. Она хоть и сморщилась вся — сущая Дапино, Алмасхановская кривляка, — зато с утра натошак лучше ее яблочка нет ничего. Ешь, золотце, и пусть все твои беды уйдут со мною в могилу...

Яблоки были и впрямь очень вкусные.

Когда началась война, я переехал в деревню, к бабушке, и здесь уже лично познакомился с Хазарулой. Яблоня высилась прямо над марани <sup>2</sup>, душистая, кое-где изъеденная червями и тронутая сухоткой, но все еще гордая, красивая и сильная, широко разметавшая свои тенистые руки. На ней красовались черпаки, горшки и кувшины — побольше и поменьше, но, увы, узнал я: наша Хазарула не цвела, как когда-то, и не приносила плодов.

Однажды ранней весной сорок второго года бабушка разбудила меня чуть свет. В руке она держала блестящий острый, как бритва, топор.

— Ты что это, бабушка, — нарочно запричитал я, — хочешь меня погубить?

И спрятался под одеяло.

— А ну, не валяй дурака, сукин ты сын! — в сердцах вскричала бабушка. — Вставай, покуда я за ухо не стащила тебя с тахты... Встань и займись делом...

— Какие-такие дела у тебя на рассвете?! — возмутился я. — Что ты задумала?

— Пусть-ка почувствует мужскую руку, а то уж меня и в грош не ставит, — нахмурясь, бормотала она.

<sup>1</sup> Нена (здесь) — ласковое обращение к ребенку в западной Грузии.

<sup>2</sup> Марани — погреб.

— Бабушка, ты это о ком?

— Ишь ты, мутруки<sup>3</sup> упрямый! Ты мне свои шуточки брось, слышишь?

— Встаю, бабуля, встаю. Объясни только, о ком речь? — отвечал я и стал одеваться.

— О ком, о ком — о Хазаруле! Уродина, ни стыда, ни совести. Слыхано ли этакое предательство, да еще в голодуху?!

— Так ты... о дереве?.. — От изумления у меня еле ворочался язык.

— О дереве, о дереве!

— О яблоне?! — Я все еще не верил своим ушам.

— Разве яблоня без яблок — это яблоня?

— Ладно, чего от меня-то надо? Срубить ее, что ли?

— Ну, зачем уж так сразу рубить. Сперва припугнем ее, дуру, а не испугается, срубим. Чего с ней цацкаться?

Бабушка объяснила мне, как я должен запугать Хазарулу, прислонила топор к моему изголовью и направилась к двери.

— Думаешь, она меня послушает? — усмехнулся я.

— Если осталась у нее хоть капля ума, — сказала бабушка, — послушает.

— А ты сама куда? — спросил я.

— Нет, вы должны говорить наедине. Ты и Хазарула, — пояснила бабушка уже в дверях и удалилась.

Я встал. С топором на плече поднялся на марани и остановился лицом к лицу с Хазарулой. Набухшие влагой почки ее готовы были лопнуть. «Интересно, — подумал я, — дерево и в самом деле слышит человека?» И улыбнулся.

Потом схватил топор и с силой занес его над стволом. Раз!

— Рубить или не рубить? — спросил я вслух. — Срубить, не срубить?! Срубить или не срубить?..

Наконец после долгих раздумий я махнул рукой и заговорил, да так громко, что меня услышала не только Хазарула, но и камень, накрывший зарытый в землю куври — огромный кувшин с вином.

— Черт с ней, — сказал я, — обожду еще год. Но если и тогда не даст плодов, пусть пеняет на себя. Срублю под корень!

Короче, я выполнил в точности бабушкин наказ. А Хазарула? Она стояла невозмутимая, даже ухом не повела и только тянулась всем телом вверх, стараясь согреться в лучах восходящего солнца.

Я снова готов был пенять, теперь уже не над бабушкой, а над собой. С маху всадив топор в чурбан, валявшийся под яблоней, я вернулся назад, в оду<sup>4</sup>.

— Ну, как? — спросила бабушка.

— «Как»... Напугал ее до смерти. Разве не видишь, вся трясется, бедняга! — отвечал я и заставил бабушку взглянуть на Хазарулу.

<sup>3</sup> Мутруки — осленок, ослик.

<sup>4</sup> Ода — дом на высоких сваях в западной Грузии.

Тут уж я засмеялся в голос — Хазарула и впрямь дрожала всем телом!..

Подул восточный ветер.

В горы скорым шагом поднималась весна. Она выглянула из-за губазаузской рощи и вошла к нам во двор — босая, как распутная девка; подняла подол своего платья, прошла по свежей зеленой траве и свела с ума всех и вся — скот, птицу, растения. Жизнь вокруг забила ключом.

Но вот бабушка вновь разбудила меня на рассвете и показала на Хазарулу:

— Глянь-ка, нена!

Величавая стояла Хазарула в бледно-розовом одеянии, распахнутом на груди, как это делают старухи, умаявшиеся после долгих трудов, стояла и улыбалась, ехидно поглядывая в нашу сторону.

— Ну что я тебе говорила! — торжествовала бабушка.

— Боже, да ты никак решила свести меня с ума? — спросил я невпопад.

Расцвела Хазарула, но как расцвела!.. Отовсюду слетались к ней пчелы, и какими роями! Завязались на ветках плоды — сколько их было, не счесть! Потом, созревая, они налились, да еще как налились! Хазарула на целый год завалила нас и наших соседей яблоками — сушеными и свежими, вареньем и повидлом. Скотина небось набила себе осмину, вечно жуя плоды Хазарулы. Помню, я что ни день относил полную с верхом корзину яблок корове Теофана Дугладзе.

— Хватит, бичо<sup>5</sup>, оставь эту корову в покое! — разгневался как-то Теофан при виде моих чрезвычайных забот. — Скоро она будет доиться яблочным компотом!

— Что ты наделала, Хазарула? Как умудрилась свести с ума всю деревню? — спросил я ее в канун наступления зимы, сбивая длиннющей палкой с самой верхушки последнее яблоко, исклеванное дроздами.

— Раз уж ты дерево плодовое, да еще яблоня, только так и надо поступать! — отвечала Хазарула, скрипя старческими своими суставами.

Год этот запомнился нам надолго: Хазарула больше не стала плодоносить. Сколько я ни пугал ее, как ни грозился, ни молил, — баста! Исыякла хазарульность Хазарулы.

Два года спустя, когда мы черпали из квеври вино, бабушка вдруг взглянула на небо, потом на Хазарулу и, покачав головой, сказала мне, словно какому-то чужаку:

— Быть сегодня снегу, а мы остались без дров. — В голосе ее слышалось раздражение. — Совсем пропадем от холода. Надо срубить Хазарулу.

— Подождем еще годик, бабуля, тогда и срубим, — взмолился я. — А ну как я снова ее напугаю...

---

<sup>5</sup> Бичо — парень.

— Да пойми ты, нена, это конец. Ее, как и меня, старуху, ничем не испугаешь.

— Нет,— заявил я,— не могу, не могу я срубить ее!

— Как так не можешь! — вспылила бабушка.— Тебе, видно, что мои слова, что собачий лай — все едино!

Я уперся было:

— Да нет же, бабушка! Нет... Просто я не могу срубить ее.

— Почему? — удивилась бабушка.

— О женщина, не ты ли уговорила меня: дерево, мол, все слышит?!

— Полно, нена, на старости лет чего не сболтнешь. А ты и уши развесил. Человек человека, бывает, не слышит, куда там дереву... Вон люди на фронте убивают друг друга. Я тогда пошутила, внучек, и в мыслях не держала, что ты мне поверишь.

— Нет,— настаивал я,— не могу! По-моему, дерево не только слышит, но и видит. Погляди, как оно отворачивается от нас.

— Диду, диду<sup>6</sup>!.. Что слышат мои уши, лучше бы им оглохнуть! — запричитала бабушка и в сердцах шлепнула себя ладонью по щеке.— Э-э, да какой с тебя спрос. Я тебе, дурню, мозги запорошила, мне на тебя и управу искать. Эй, соседи! Люди добрые, сюда, сюда! Сажайте всем миром на цепь взбесившегося мальчишку! О горе, долго ему не жить! — Она зывала теперь ко всей деревне.

— Эй, вдова Каландадзе! Чего ты хочешь от этого мальчишка? За что собираешься господу богу подкинуть его душу? — откликнулся на ее вопли шагавший куда-то по поселку меж плетнями Анания Салуквадзе и завернул к нам во двор.

— Как это чего хочу, батона<sup>7</sup> Анания! Сам посуди, заставила я в позапрошлом году родного внука напугать эту бесплодную Хазарулу. А теперь вот прошу, сруби ее, умоляю по-всякому. Так он, видишь ли, не желает. И знаешь, почему? Дерево, мол, все видит и слышит... Черт знает что! — в сердцах объявила бабушка и протянула гостю стакан, наполненный чистым, розовым вином «Одеса»<sup>8</sup>.

— Доброе утро и бог тебе в помощь, калбатона<sup>9</sup> Дареджан, — благословил бабушку Анания Салуквадзе и с таким смаком выпил вино, что у меня слюнки потекли, словно сам вовсе не стоял перед открытым чури<sup>10</sup>, полным вина.

— Видит... и слышит? — переспросил Анания и погладил свои отливающие рыжиною усы.

†

<sup>6</sup> Диду — междометие, означающее крайнюю степень изумления.

<sup>7</sup> Батона — вежливое обращение к мужчине, старшему; буквально — господин, сударь.

<sup>8</sup> «Одеса» — сорт винограда.

<sup>9</sup> Калбатона — вежливое обращение к женщине.

<sup>10</sup> Чури — то же, что и квеври — обычно зарываемый в землю кувшин для хранения вина.

— Не только видит и слышит, дорогой Анания! До того обалдел сопляк, уверяет: дерево еще и говорит! — пожаловалась бабушка. — Но нет, не его здесь вина. Это я, я сама задурила ему мозги, мне теперь и в петлю лезть!

— А вина твоего он случаем не пробовал с утра? — спросил Анания Салуквадзе.

— Да вроде выпил стакан-другой, — отвечала бабушка; перед нею вдруг снова блеснула надежда.

— Тогда налей мне еще стакан, калбатано Дареджан, — улыбнулся Анания, — и я точно скажу, кто его свел с ума, ты или вино.

Бабушка наполнила стакан; Анания одним махом опрокинул его в свою глотку.

— Сдается мне, калбатано Дареджан, — начал он, выдержав долгую паузу, — вы оба свели его с ума — и ты и вино. Но чтоб я вынес окончательный приговор, налей-ка еще стаканчик.

Бабушка налила ему вина, но при этом глянула на него такими глазами, что я на его месте поостерегся бы даже пригубить напиток. Однако Анания как ни в чем не бывало осушил и третий стакан. На сей раз он тотчас изрек свое суждение:

— Нет, уж сейчас мне ясно, отчего он рехнулся, — и указал пальцем на вино. — Так ты утверждаешь, — обратился он прямо ко мне, — что дерево все видит, не так ли?..

— Да! — подтвердил я.

— А камень?

— И камень тоже.

— А река?

— И река...

Он призвал на мою голову благословение божье и повернулся к бабушке:

— А что, калбатано Дареджан, выходит все хоть куда! Скажем, ты — дерево... ну, хоть эта яблоня, Хазарула... Если ты, как болтает твой парень, и видишь и слышишь... неужто ты сразу не заметишь мутрука... мужика вроде меня с топором на плече. Подходит и хочет тебя срубить. Понимаешь, срубить?! Все видишь и знаешь, а бежать не можешь! Долго ли тут сойти с ума? — спросил Анания и вновь протянул пустой стакан, но бабушка почему-то замешкалась. — Налей, женщина! — вскричал Анания Салуквадзе. — Главное, что я должен тебе поведать, еще впереди.

Бабушка наполнила его стакан.

— Ты, бичо, хоть и городской, — воззвал он ко мне, — пора уже, пора тебе освоить нашу крестьянскую премудрость. Трех вещей не станет держать у себя крестьянин: скотину, не дающую потомства, бесплодное дерево и бездетную... — Тут Анания заколебался, уставясь на бабушку.

— Нечего на меня таращиться, Анания, — рассмеялась бабушка. — Говори, договаривай, не стесняйся. Не будь у меня сына, откуда бы взялся внуку?



— Твоя правда... И бездетную бабу... У твоей бабушки Дареджан было семеро душ детей. Вот так-то...

— Чего ты хочешь от меня, дядя Анания? — спросил я.

— Почему не рубишь дерево? — спросил он в ответ.

— Жалко мне его.

— Значит, бичо, дерево пожалел? Твои, почитай, сверстники на фронте под танки с гранатами ложатся, а ты...

— Бедная наша страна, где ей с такими молокососами Гитлера свалить!

— Нет, не смей говорить так, калбатано Дареджан! — вспылil вдруг Анания.

— Как же! Как же не говорить, дорогой?! Он ведь при нужде ни курицу тебе, ни ягненка не зарежет. Вон, деревья никак не срубит: ему, видишь ли, жалко. Больше тебе скажу: стал он было на позапрошлый Новый год свинью резать — еле поймали ее в этом году в Интабуети, нож в горле так и торчит! Да разве дело это?! — сетовала бабушка.

— Правду она говорит, бичо? — спросил Анания.

— Правду, дядя Анания. Только ты мне зря наставления не читай, все равно не срублю Хазарулу, — заявил я.

— Жалко стало, бичо?

— А разве не жалко?

— Ну и черт с тобой, с жалостливым! Налей мне еще стакан, калбатано Дареджан, и завтра твоя Хазарула ни свет ни заря будет валяться на земле. Сам со всем и управлюсь — завтра: нынче мне недосуг.

Бабушка налила ему вина. Он выпил.

— Калбатано Дареджан, у тебя случайно закусить не найдется? — как бы между прочим спросил он.

— А кол на закуску не хочешь, батано Анания? — ехидно спросила бабушка.

Анания молча вышел со двора и медленно двинулся вверх по проселку.

— Эй, батано Анания, куда тебя понесло?! — крикнула бабушка. — Ты вроде вниз собирался?

— Да, были внизу у меня кое-какие дела, калбатано Дареджан, — признался Анания. — Но чтоб так зацвела лоза у нашего председателя, как я гожусь теперь в дело...

Он махнул рукой.

— Ну, тогда, батано Анания, уважь меня, старуху, обопришь лучше на плетень Шакроиа, — попросила бабушка. — Мой и так еле дышит.

Анания переметнулся через проселок и повис на изгороди Шакроиа Микаберидзе. Он шагнул было дальше, но вдруг оглянулся.

— Эй, бичо! — позвал он меня. — Значит, говоришь, видит твоя Хазарула?.. Ах, чтоб тебе... До Хазарулы ли тут, — хихикнул Анания, — я и сам ни черта не вижу...

И, шатаясь, побрел вдоль изгороди.

А прав-то был я. Все видело и все слышало безмолвно стоявшее нагое дерево. До полуночи думала Хазарула. А в полночь стиснула свое сердце и подобрала корни... Оплетенный корнями ее кевври содрогнулся. Почуяла это Хазарула, крепче прежнего сжала корни... Прогнули вмятины глиняные бока, но кувшин остался цел. Снова сжала Хазарула корни, и первая трещина рассклала кувшин. Красная жидкость лениво засочилась из него, орошая длинные корни Хазарулы. Страшная дрожь пробежала по всему ее телу... Но со временем дрожь эта обернулась неведомым сладким трепетом. Обреченная и жаждущая, приникла она к кувшину, и красная жидкость потоком хлынула по ее корневищам. А она все впивала в себя это красное чудо, вот уж без малого семьдесят лет таившееся меж ее корнями; и все эти годы она, ничего не зная о том, любовно окутывала его сетью животворных подземных побегов... О, как она укрывала и берегла его!.. Красная жидкость нескончаемым потоком струилась из лопнувшего кевври... И Хазарула все сильнее сжимала кувшин, жадно упиваясь неиссякающей диковинной влагой. Тело ее, сотрясаемое дивной радостной дрожью, наполнялось теплом и радостью. А она пила и пила, позабыв обо всем на свете... Наконец захмелела, и мир стал светлее!

Свершилось чудо! До дна опустел кувшин, последнюю каплю выпила Хазарула, и вдруг ей открылась, стала ясна тайна человека и секрет этой странной жидкости... Нет, она теперь не дивилась ни тому, что люди, бывало, обнимались, целовались, плакали с мисками в руках, ни тому, что они гнались друг за другом и ссорились, смеялись, пели песни, держась за руки, и плясали вокруг нее, Хазарулы, ни тому, что с таким усердием мыли кевври и потом благоговейно наполняли его этой удивительной влагой. Все, все поняла Хазарула, и тут ей самой захотелось до смерти петь, обниматься, целоваться и плакать, бегать, плясать... Но как было ей совершить все это? Бедная Хазарула, ведь она оставалась деревом, не человеком. И она сделала, что могла, — до утра качалась и гудела Хазарула. А утром... Утром почувствовала глухой удар, обрушившийся на ее бок. Но боли не испытала; нет, ей не было больно, и потому она оставила этот удар без внимания... Потом ощутила в другом боку такой же точно удар, но и на него никак не отозвалась... А удары все падали и падали на нее — час и более. Наконец почувствовала она, некий напор слева направо стал клонить ее долу. Напор становился все сильнее, послышался скрип, протяжный и резкий... Сперва она наклонилась лениво, потом вдруг бессильно улеглась наземь. Теперь лишь слышала она треск и хруст своих собственных рук и плечей, лопались суставы и кости... Но все равно, ни малейшей боли она не испытывала, просто закрыла глаза и сладко — ах, как сладко и глубоко — уснула.

— Вставай, вставай, нена! — разбудила меня бабушка. — Знаешь, Аняня свалил спозаранку Хазарулу. Вот, бери топор, хоть ствол от ветвей очисти! — сказала и вышла на кухню.

Бабушку чутье не подвело: ночью и впрямь выпал снег. И деревня стояла такая красивая, точь-в-точь невеста под фатой, готовая к венцу. Только наш двор, казалось, был в трауре: на марани покойницу лежала недавно срубленная Хазарула, огромная, изуродованная, с поломанными ветвями: Понурысь, поднялся я на марани и, прежде чем обрубить ветки, присел на сруб. Присел, пригляделся и окаменел: из ссадин, рассекших жилы поверженной яблони, сочилась кроваво-красная влага.

— Бабушка! — закричал я.

— Чего тебе? — выглянув из дома, спросила она.

— Поднимись сюда на минутку.

— В чем дело?

— Поднимись, сама увидишь.

— Что это? — спросила она в изумлении.

— Наверно, кровь дерева, — отвечал я дрогнувшим голосом.

— Быть не может. Сейчас январь, все растения спят, соки забродят лишь в феврале, — сказала бабушка.

Она обмакнула палец в красную жидкость, понюхала его и вдруг испуганно взглянула на меня.

— Открой чури! — велела она.

Я тотчас снял камень и крышку с зарытого в землю кувшина, и мы с бабушкой глянули оба в широкое его горло. Квеври был пуст!..

— О чудо свышеблагословенное!.. Мать-прародительница, зеркало истины... Святая Мария, смилуйся над нами, бедными, не своди нас с ума! — взмолилась бабушка, голос ее дрожал.

Воздев руки к небу, она медленно опустилась на колени.

Хазарула, содрогнувшись от холода, открыла глаза. Ей в непривычном ее положении мир показался опрокинутым вверх дном. Она удивилась. Сперва она обвинила во всем диковинную красную влагу. Но тут увидела сидевшего на срубе понурого парня, облокотившегося на топорнице, а чуть поодаль, у раскрытого кувшина, на невообразимо белом снегу коленопреклоненную старуху в черном с воздетыми к небу руками — увидела и поняла: это она, Хазарула, мертва. И закрыла глаза.

Закрыла навеки.

## МАТЬ

— Великодушные и щедрые граждане Тбилиси! Явите, прошу вас, божескую милость, не пожалейте гроша для пьяницы, тунеядца, для подонка, променявшего на стакан вина свою человеческую душу! Вот он я, перед вами, с протянутой рукой. Я хочу, я должен, я обязан навестить мать, повидать мою дорогую, мою единственную мамочку! Как, увы, ее осрамил родной ее сын... Я скучаю по ней, тоскую, как по скорой смерти, вернейшему избавлению от моих мук. Но мне нужны деньги! Деньги на билет, чтобы съездить и повидать мою любимую

маму. Великодушные граждане Тбилиси, не скупитесь на подавание!..  
Прошу... умоляю вас...

Голос, чуть дрожащий, был полон фальшивой патетики.

Шумел, грохотал, гудел подвал, пропитанный смрадом нечистых сапог, водки, горчицы, кислого вина, вонючего табака, сырости, пота и ржавой селедки. И, несмотря на явную фальшь, эта чудовищная исповедь, словно гром небесный, потрясла так похожее на чистилище подземелье, и на несколько мгновений, пусть на несколько кратких мгновений, но все же вдруг воцарилась могильная тишина.

...А когда все снова ожило, зашумело, загоготало, пьяница стоял уже у первого столика, сгребая дрожащей рукой три лежавшие на краю стола рублевки и кучу медяков. Никто из сидевших за столиком и словом с ним не обмолвился, даже не глянул в его сторону, когда он дрожащим голосом стал рассыпаться в благодарностях. Один лишь, самый молодой из четверых, не поднимая головы, процедил сквозь зубы:

— Проходи!..

Пьяница подошел ко второму столику и снова привычным движением протянул руку:

— Благородные граждане Тбилиси!..

— Речей не надо! — оборвал его один из мужчин и протянул стакан с водкой. — Пей!

Пьяница принял стакан и поднес ко рту. Рука его дрожала, и, словно в такт ей, тряслась нижняя губа.

— Может, хоть тост провозгласишь? — сказал другой мужчина — за столом их было трое.

— ...Хоть тост! — пробормотал пьяница, и лицо его перекосило жалкое подобие улыбки.

— Ну и ну, он еще насмехается над нами?! — изумился третий.

Пьяница, не ответив ему, проглотил водку и уткнулся носом в локоть. Когда он снова поднял голову, лицо его стало вроде бы спокойней, в глазах появился влажный блеск.

— Будь здоров! — благословил его первый.

Пьяница поставил стакан, но от стола не отошел.

— Надеюсь, денег просить не будешь? — нахмурился, сказал второй.

— Подайте, Христа ради, на билет... Смерть как скучаю по матери...

— Знаю, наслышан и про твою маму, и про тоску твою, и твой билет...

— Всего три рубля!

— Как прикажешь — мелочью или бумажками? — ухмыльнулся первый.

— Рубль! — скостил вдруг пьяница.

— Дай уж, черт с ним! Не видишь, что ли, иначе он не отстанет? — сказал третий первому. Тот вынул из кармана двугривенный, положил на ноготь большого пальца правой руки и подбросил монету вверх.

Потом левой рукой поймал двугривенный, тотчас накрыл его правой и вопрошающе уставился на пьяницу.

— Орел! — не задумываясь, сказал пьяница и потянулся за монетой. Мужчина убрал правую руку: двугривенный лежал на «орле».

— Везет же сукину сыну! — сказал он друзьям и отдал монету пьянице.

Тот направился к третьему столику.

— Ребята, наше будущее пожаловало! — обрадовался один из сотрапезников — здесь их было пятеро.

— Да здравствует вновь пришедший! — зашумели они, приветствуя пьяницу.

— пей! — Мужчина, сидевший в углу, протянул ему свой бокал.

— Да я уж пил! — сказал пьяница, но бокал с водкой все же взял.

— Ишь ты, как будто тебе впервой опрокинуть два стакана подряд! — сказал другой, очень похожий на первого, как, впрочем, тот, первый — на третьего, а вся троица, вместе взятая, — на четвертого и пятого, прямо вылитые братья. И водку они тоже пили одинаково.

— Здравия желаю! — сказал пьяница и снова одним духом опрокинул стакан прямо в глотку, но на сей раз не скорчил рожу, лишь поднес снова к носу грязный рукав и со свистом втянул воздух.

— Давай без лишнего слов, говори прямо, сколько надо тебе на билет, чтобы съездить к матери? — спросил, предвзяв излияния пьяницы, один из гуляк и сунул два пальца в свой нагрудный карман. Секунду спустя он извлек оттуда пухлую пачку сложенных вдвое пятирублевков.

— Дай одну синенькую! — глотнул слюну пьяница.

— Ты что, ослиная башка, наживаться на нас вздумал?! — озлобился владелец пятирублевков. — Шел бы тогда к делягам, что самокрутки из тридцатирублевков крутят! — и указал на «отдельный» кабинет.

— Отдай ему деньги! Чего зря человека мучить, нас и самих ждет такой конец! — сказал кто-то из пятерых.

— Вот — держи две пятерки! Только, просим тебя, поезжай в международном, а то еще в жестком вагоне кое-что заболит! — осклабился гуляка беззубым ртом. Остальные четверо расхохотались.

— Ты, брат, настоящий мужчина, — сказал пьяница и запихнул в карман смятые деньги. — Вот будет и на моей улице праздник, обязательно вспомню вас.

— Смотри, зная не забудь захватить! — с серьезным видом напутствовал его щедрый владелец «синеньких». Все снова расхохотались.

К четвертому столику пьяница не подошел. Там сидели двое. Одного он узнал еще издали, это был Зарзана — карманник из верийского квартала. Пьяница по опыту знал, что карманники и прочее жулье ненавидят пьяных и нищих, а ведь он выступал в обеих

ролях. Столик Зарзаны он обошел стороной и проследовал напрямик в дверь кабинета, занавешенную портьерой. Но сразу выскочил оттуда, угрюмый и мрачный. И тотчас, качаясь из стороны в сторону, встал у столика, где сидели парни из Ваке.

— Великодушные граждане Тбилиси... — затынул пьяница, заслонив почему-то рукой глаза.

— ...Явите божескую милость, не пожалейте гроша пьянице и ублюдку... — подхватил, также нараспев, парень, сидевший за столиком.

— Что, узнаешь? — спросил тот.

— ...Скучаю по матери, тоскую, как по скорой смерти...

— Кто же тебя держит? Пожалуйста, кончай с собой или убирайся! — парень протянул пьянице нож.

— К маме хочу... — бездумно тянул пьяный.

— А сиську не желаешь?

— Мама...

— Голову даю на отсечение — у тебя вообще нет матери! — вскочил из-за стола худощавый парнишка, едва не плеснув вином в лицо пьяницы. Кто-то успел снова усадить его на место. — Каждый раз этот чатлах\* является сюда, как только начнем кутить понастоящему, и прямо всю душу выворачивает! Хватит же, вонючка, хватит! Неужели в тебе не осталось ничего человеческого? — Худощавый парень отвернулся от пьяницы и смахнул набежавшую на глаза слезу.

— Иди сюда, Симон! Бери, и чтоб духу твоего здесь не было! — Парень с ножевым шрамом через все лицо бросил пьянице десятку.

— Ты знаешь, как меня зовут?! — удивился пьяница.

— Знаю, Симон, знаю! На те башли, что выудил у меня на поездку к маме, мог бы уже, как Магеллан, обойти вокруг света... И даже трижды.

— Я так скучаю по матери... — заплакал пьяница, закрыв руками лицо.

Парень со шрамом взял упавшие на стол деньги, сунул их в карман пьянице и слегка подтолкнул его к выходу.

— Кончай, не тронь его! Мы разве не люди? Разве у нас нет сердца!.. — вскочив, крикнул друзьям по застолью худощавый парень.

Пьяница стоял уже у другого столика. Говорить он уже не мог, просто протягивал раскрытую ладонь. Глаза его слипались, и сам он покачивался, как на качелях.

— Что ему надо? — спросил кто-то у соседа.

Это был, пожалуй, единственный человек здесь, в подвале, который не знал еще, чего надо было пьянчуге.

— Кто его знает! Что тебе? — обратился сосед новичка к пьянице, зная, само собой, все наперед.

— Ма-ме-е... — затынул было пьяница, но не в силах закончить слово, с досадой махнул протянутой рукой.

---

\* Чатлах — подонок.

— Что ты блеешь козлом? — засмеявшись, спросил пьяницу жирный кутила, казалось, купавшийся в собственном поту.

— Ты почему не на фронте? — спросил с другого конца стола делега, который сам, оказавшись он на фронте, мог бы по габаритам заменить тяжелый танк.

— Да он был на фронте! — ответил за пьяного сосед.

— А почему не ранен?

— Ранен он... Ранен...

— Пусть покажет шрам от раны! — не унимался делега.

— Я-то знаю, куда он ранен. Спроси, если хочешь, не томится ли он в одиночестве? — посоветовал сидевший слева от делеги плешивый мужчина.

— Эх ты, хмырь недоделанный! Это ж хитрейшее дело заставить кого-то раскошелиться по доброй воле... Где была твоя голова, когда ты надумал побираться? Иди, иди! Проваливай! Лучше пришей кого-нибудь или обчисти банк, придумай какое-нибудь верное дело... — стал поучать пьяного новичок, впервые пришедший в подвал.

— Смотри, Андро, как фраер муклует... Иди, говорит, Барига, и шуруй по карманам. Этот подкидывш от чужой мамы думает, что воровать — плевое дело!.. Вот сейчас возьму и отрежу ему «перышком» язык! — сказал Зарзана и встал.

— Да сядь ты! Сядь, тебе говорят, нашел тоже где «права качать», — с силой усадил его Андро.

Пьяница сгреб руками всю мелочь со столика и, не считая, рассовал ее по карманам. Да и захоти он даже сосчитать свой куш, это ему все равно не удалось бы: он вконец обалдел от выпивки.

Пьяный стоял и ждал, когда наконец остановится завертевшийся, как карусель, подвал, чтоб увидеть долгожданную дверь и хоть на карачках выползти отсюда на воздух. В невыносимой духоте подвала нечем было дышать. Пьяному чудилось, будто он размяк, словно студень, и против воли плывет и плывет в загустевшем затхлом дыму, заполнившем все пространство под низким потолком подвала... Наконец потолок и стены вроде бы расступились, и карусель стала кружиться помедленнее. А вот и дверь проплыла мимо. Пьяница бросился за нею... Но, увы, проклятая дверь, опередив его, снова куда-то скрылась... Пьяница остановился и стал ждать, когда же она вернется обратно. Вот проплыл мимо первый стол, где сидели раньше угрюмые работники. Но сейчас он был пуст. Следом, покачиваясь, плыл второй стол, третий, четвертый и пятый — все до единого, а двери все не было! Что за чертовщина? Куда же она подевалась?! Ну, слава богу, вот, вроде, и она!.. Но, позвольте, что здесь творится?! Официант Сейта снял дверь и вместе с проемом взвалил на плечи и утащил куда-то! Вокруг, куда ни глянь, глухие стены!.. Что ты наделал, Сейт?! Как теперь быть? И где, скажите на милость, выход?.. Почему, черт побери, он не успел вовремя выскользнуть на улицу? Все — это конец! Не иначе, как здесь задохнешься без воздуха и сердце не выдержит и лопнет, разорвется!.. А Сейта уносит дверь на плечах все дальше

и дальше... Шагает, как ни в чем не бывало... Но вот он, вроде стал возвращаться. Подходит совсем близко... Еще два шага... Шагнул пьяница, рванувшись с места, повис в отчаянии на ручке проплывающей мимо двери...

Казалось, стены подвала рухнут от грохота и звона разбитой посуды и расколовшегося блюда. А следом, словно хлопок бича, раскатился звук страшной пощечины. И снова подвал на несколько мгновений как будто окаменел... Потом месиво, заполнявшее каменный мешок, опять пришло в движение. Официант Сейта схватил пьяницу, поволок его к выходу и, отвесив ему напоследок затрещину, выбросил за дверь. На улице пьяный, поднявшись было, снова упал, но это было уже не страшно: он упал глотнуть чистого воздуха. Потом горячей щекой он приник к холодному каменному тротуару и замер... Вдруг в мысли его вторглось нечто огромное и важное, вроде давно пережитое и отошедшее прочь... Теперь оно почему-то вернулось и щемящей болью стиснуло сердце. Чувство это было, таким расплывчатым и смутным, что он не сумел даже найти для него названия. И лишь когда кто-то поднял его с земли и поставил на ноги, он вспомнил вдруг, что чувство это называется давно уж, казалось бы, позабытым словом — «самолюбие». И тогда он почему-то обрушился с матерной бранью на прохожего, который помог ему встать, и против воли грубо его оттолкнул. Впрочем, ругался он беззлобно, для того лишь, чтобы его услышали люди и не видели в нем вконец оскотинившуюся тварь. Прохожий ничего ему не ответил, улыбнулся досадливо и ушел.

Пьяница вытер ладонью кровь и, шатаясь, направился вверх по улице Меликишвили. Редкие встречные обходили его.

Он лежал на деревянной тахте прямо в одежде. Спал без сновидений, как мертвый, и проснулся лишь, когда в соседней комнате зазвонили часы. Но они пробили только один раз — половину чего-то там, ибо сейчас никак не мог быть час ночи. Теперь надо было ждать еще полчаса, чтобы узнать, сколько же сейчас времени.

Сперва он ждал с закрытыми глазами, но потом открыл глаза, широко, потому что ему виделось все время одно и то же: двухэтажный дом с верандой и деревянной лестницей. Во дворе — огромная белая кавказская овчарка, и верхом на палочке маленький мальчик в белой рубашке и в черных бархатных штанишках. А на веранде стоит красивая черноволосая женщина в простом голубом платье. Волосы женщины вдруг седали, и на грустном лице ее проступали морщины, потом она вновь молодела... И это повторялось десятки, сотни раз... Это было его детство... Его мать... Вроде ничего особенного... Но он почему-то испугался и открыл глаза, чтобы видение поскорее исчезло.

Немного погодя пьяница осторожно, словно крадучись в темноту, снова закрыл глаза. Ресницы сомкнулись, и из мрака вновь выплыли привычные лица и силуэты... Это был как бы театр, где все шло



наоборот: занавес темноты опускался, и фигуры актеров появлялись и оживали, потом завеса поднималась, и они исчезали. Это вывернутое наизнанку зрелище было мучительным, невыносимым. И пьяница решил до рассвета не смыкать глаз.

— Бом!! Бом!! Бом!! Бом!! Бом!! — произнесли стенные часы у соседей. Он вздохнул с облегчением: бой часов унес с собой прошлое; в Тбилиси наступило утро, и привидения исчезли.

Пьяница встал и подошел к крану — глотнуть воды и смочить пересохшие, как земля после засухи, глотку и рот. Но в кране воды не было. Пьяница вернулся к своей тахте...

...Если сейчас он чего-нибудь не глотнет, не примет спиртного, ему конец: кровь свернется, и он подохнет... да, подохнет. Он должен пойти куда-то и выпить. Но куда?.. Ресторан на вокзале открыт до утра. Деньги у него есть, вчера он собирал милостыню, ему хватит... Он должен выпить водки, хотя бы стакан, один-единственный глоток, пусть маленькую каплю, но он обязательно должен выпить, иначе ему смерть... Смерть... Смерть... Вот уже леденеют руки, ноги, все тело... Замирает пульс, на лбу выступил холодный пот. Пьяница встал, бросился к двери, как сумасшедший, рванул на себя ручку и застыл...

У порога стояла скромно причесанная седая женщина в синем платье.

Пьяница не услышал, как за спиной шесть раз пробили соседские часы и как звонко ударила вдруг струя из крана... Он закрыл глаза, потом, выждав довольно долго, открыл их... Седая женщина по-прежнему стояла у двери, смущенная, но какая-то божественноликая.

— Простите, кто вы, уважаемая? — прошептал пьяница.

— Вот уже битый час стою здесь и не решаюсь постучать... — ответила она.

— Кто вы будете, уважаемая? — снова спросил пьяница.

— Ваша дверь, наверно, сотая. Ни в одну не посмела я постучаться. Наверно, и здесь не решилась бы, не отвори вы ее сами...

— Что вам нужно, уважаемая?

— Нет, я не нищая, сынок. — Голос ее дрогнул. — Я мать!

— Мать?.. Чья мать?! — испугался пьяница.

— Мать солдата! — Женщина замолчала, у нее перехватило дыхание... Помолчав, она с трудом заговорила снова: — Вот получила известие, что сын лежит в госпитале... при смерти... Я должна отвезти его домой... чего бы мне это ни стоило... Даже ценой собственной жизни... Потащу его на спине, по земле поползу, но и отвезу... отвезу

«Чего же вы от меня хотите, уважаемая?!» Нет, он молчал. Этот вопрос женщина прочитала в его глазах.

— Не думай, сынок, что я нищая... Мать я... Мне деньги нужны... Деньги на дорогу... «Великодушные граждане Тбилиси...» — услышал вдруг пьяница собственный голос. «Да, но почему вы пришли ко мне, уважаемая?» — Она и этот вопрос прочитала в его глазах.

— Не откажи, сынок... Не убивай меня, я уже не смогу подойти к другой двери, это была последняя... — Женщина опустила голову. Пьяница увидел, как на продранный носок ее черной туфли упали капли слез. Тогда он трясушимися руками вытащил торопливо из кармана скомканные, потертые, вымученные деньги и протянул их женщине. Она не подняла руки, тогда пьяница бережно засунул деньги ей за пазуху, потом вывернул свои карманы и застыл в дверях. Женщина стояла, понурясь, и плакала. Пьяница понял, что она хочет поблагодарить, но не знает, как... И тогда он медленно опустился на колени, поцеловал ее ноги и сказал:

— Благодарю... Благодарю вас, матушка!

Когда он поднял голову, чтобы взглянуть ей в лицо, женщины уже не было...

На пороге, там, где она стояла, валялись скомканные, рваные, вымученные деньги.

— Господи, неужели и это было только видение?!

В комнате из открытого крана журчала вода. Но он уже не чувствовал жажды. Пересохшая глотка его была увлажнена... Но влага эта была почему-то солоноватая и теплая.

...За окном начинался день.

По проходу душного и темного переполненного вагона бочком пробирался контролер. Он проверял билеты. Следом за ним, как провинившийся, шел проводник, фонарь его с тусклым огарком свечи освещал билеты, протянутые пассажирами. Компостер пробивал их один за другим. Контролер так пристально разглядывал пассажиров, их багаж и скудные пожитки, словно искал опасного государственного преступника.

— Ваш билет! — снова и снова монотонно и властно спрашивал он. И пассажиры, как бы в сердцах на него, молча совали ему билеты. Никто не обмолвился с ним словечком.

— Ваш билет! — обратился он к сидевшему в пятом купе у окна тощему и небритому пассажиру. Ответа не последовало.

— Ваш билет?! — повторил контролер.

— Нет у меня билета! — сказал наконец пассажир.

— Что?! — удивился контролер.

— Нет у меня билета! — повторил пассажир.

— Ну, и куда вы изволите следовать, почтеннейший, без билета? — иронически улыбаясь, спросил контролер.

— К маме! — сказал пассажир.

— К кому?! — Контролер был явно удивлен. Он взял у изумленно-точно так же проводника фонарь и посветил странному пассажиру в лицо.

— К матери! — повторил пассажир.

— К какой еще матери?! — чуть не спросил его контролер. Он вдруг разблагодушествовался и был не прочь побалагурить. Но, увидав бледное как полотно лицо пассажира и катящиеся по седой щетине на его подбородок слезы, он вздрогнул. Потом молча отвернулся и направился к тамбуру.

Поезд с пронзительным свистом ворвался в тоннель.

## ЦЫГАНЕ

Однажды, в июле сорок третьего года, наше село Зенобани вдруг всколыхнула весть: Цыгане!.. Прямо сюда, к нам в горы, поднялись цыгане и стоят уже табором в овраге, под деревьями на берегу речки... Для меня это как бы возвещало вторжение разбойничьей орды; ведь у нас, в Гурии, само слово «цыган» вроде исходит от лукавого и прочей чертовщины; «цыган» — значит «чуждый», «нечистый», «нечестный».

И потому-то, собравшись разведать их табор, я сунул на всякий случай в карман дедовский еще довольно большой перочинный нож с деревянной рукоятью и повесил на плечо дробовик — опять же собственность деда, — который с одна тысяча девятьсот пятого года не выстрелил ни разу да и не мог стрелять, потому что в момент того самого достопамятного выстрела у него отломался курок и никто не удосужился закрепить его снова.

Вот так — была не была — подкрался я к табору и стал разглядывать его издалека. Цыгане сразу полюбились мне, черномазые, шумливые, шустрые, то и дело пускающиеся в пляс и без умолку распевające свои песни... Такими они запали мне в сердце на всю жизнь.

Я подошел поближе, и они несказанно обрадовались мне; еще бы, в этом богом забытом горном селе повстречать человека, говорящего по-русски!

Весь день занимались они устройством табора, ставили кузницу, стреноживали коней. А на другое утро мужчины раздули горн и застучали молотом по наковальне, мастера цепи, на которых подвешивают котлы-казаны над огнем, серпы да топоры; а женщины их, замужние, кто с ребятишками за спиной, кто на сносках, и девушки на выданье, все до единой красотки и чаровницы, женщины с детворою накупились, как саранча, на наши сады и огороды; так что, не будь крутонравных и крепких, как иной орешек, грузинских хозяек, на деревьях, на грядках у нас не осталось бы к вечеру не только плодов, но и листьев.

— Эй вы, лешие! — кричали деревенские бабы непрошеным гостям. — Вы что, ошалели?!. Или приспичило оборвать все да слопать в один день? Оставьте на завтра хоть малость!..

И странное дело, цыганки, никого обычно и в грош не ставившие, вдруг отступились от многострадальных растений и принялись даже на тарабарском своем языке урезонивать неумных, балованных детишек.

Господи, сколько всего сказано, написано о цыганах! Сколько поставлено пьес и фильмов! Да еще многие под тем же названием, что и мой рассказ. Разве тут умудришься сказать что-нибудь новое?.. И все же о тех июльских неделях сорок третьего года стоит порассказать.

Я вроде остановился на том, как цыгане, словно саранча, набросились на нашу деревню.

В то время если не все село, то по меньшей мере добрая половина его была в трауре.

И цыгане, попав в наше объятые скорбью село, старались умерить буйную свою веселость. Даже иной раз не торопились подтибрить вещь, которая, как говорится, плохо лежала; и, хоть иногда то тут, то там раздавались грузинские проклятия вперемежку с цыганской бранью, до рукоприкладства, до серьезной свары дело не доходило.

Цыгане сразу подружились со мной. А узнав, что я сирота, безотцовщина, стали улещать: мол, давай оставайся с нами, кочуй себе вместе с табором; станешь цыганом, а там, со временем, бог даст и цыганским бароном. Но призрачному баронству предпочитал я пасты, как встарь, бабушкину козу, довольствуясь почетной ролью переводчика и посредника между цыганами и нашими соседями — само собой, безвозмездно. А цыгане тоже безвозмездно обучали меня своим песням, забористой чечетке и даже игре на гитаре.

Мужчины их, сказать по правде, не очень-то нуждались в моих услугах: они все больше торговали нехитрыми земледельческими орудиями, а язык торговли да еще меновой, как известно, спокон веку не нуждался в переводе.

— Нена<sup>1</sup>, приведи ко мне цыганку из ворожей да получше, я в долгу не останусь. Пусть погадает о моем Ванойе, а то письма все нет да нет, — просила соседка, и я охотно выполнял ее просьбу.

— Позвал бы ко мне ту гадалку, что приводил к Аграфене, — просила другая, — уж больно хорошие вести она ей наворожила. А за наградой я не постою.

И я приводил к ним цыганок, какой еще был у меня выход?!

Пусть не всем несчастным семьям, но доброй их половине оживили цыганки погибших сыновей, мужей, братьев, зятьев, женихов, отцов и других родичей.

Пусть не каждому из скорбящих, но доброй половине их осушили они горькие слезы. Сколько угасших было очагов разожгли они вновь, — да, вместо холодной золы там затеплился огонь; и все эти чудеса они совершали за горсть табаку, за два-три яйца или половину свежего сыра из последнего надоя, за кусок мчади<sup>2</sup> или бутылку вина «адеса», а случалось, гадали и вовсе без платы за стакан родниковой воды.

Историю одного из таких гаданий я и хочу рассказать вам...

Однажды утром во двор к нам явилась вдовая жена соседа Дзнеладзе, как принято называть у нас, Дзнеладзева хозяйка, и позвала бабушку.

— В чем дело, Нина? — откликнулась бабушка.

---

<sup>1</sup> Нена — на гурийском диалекте «мама».

<sup>2</sup> Мчади — кукурузный хлеб, лепешка.

— Слушай, Кернадзева хозяйка, как хочешь, а ты должна одолжить мне своего парня.

Господи, забирай насовсем, если тебе хоть на что-нибудь сгодится этот лоботряс. Только вот отыщи его сперва. Мне-то самой от него ни проку, ни подмоги. С утра до ночи пропадает у проклятуших цыган да тренькает на гитаре. Вчера вон приволок ко мне в дом пятерых разбойников, сам шестой: веришь ли, после них не осталось на дворе ни горстки черешни, ни единой луковички. Все, что нашли на земле и под землей, все сожрали, окаянные!

— Ой, мамочки! Не сойти мне с этого места! — запричитала Нина. — Неужто вовсе ничего не оставили?

— Как же, вшей оставили столько — со вчерашнего вечера маюся, никак белее не очищу!

Но авторитет мой, хоть и пошатнувшийся, устоял.

— И все-таки одолжи мне его! — воскликнула Дзнеладзева хозяйка.

— Сказано тебе, найдешь — бери насовсем и задаром! — снова расщедрилась бабушка.

Весь этот их разговор я слышал собственными ушами, восседая на дереве, где жадно выискивал уцелевшие чудом после вчерашнего пира черешни. Наконец завершив поиски, я слез с дерева и предстал перед Дзнеладзевой хозяйкой.

— Что случилось, бабушка Нина? Зачем тебе нужен я, грешный?

— Ах, ослатилъ меня, нена. Приведи из табора хорошую гадалку. Уж я не поскуплюсь, пусть только погадает на моего Гришу...

У бабушки Нины в глазах заблестели слезы, и она с мольбой поглядела на меня. Мог ли я отказать ей!.. И я зашагал к табору, прикидывая по пути, кого бы позвать к бедной старухе: ведь на столе у нее лежало извещение о гибели сына вместе с собственноручным его письмом, он не успел отослать письмо, и пуля пробила его прямо в нагрудном кармане. Второй уже год плачет она, убивается над листком, продырявленным пулей, неужто еще на что-то надеется? Такое уж видно сердце у матери, чего не видала сама, тому никогда не поверит. И где-то в глубине души ее таится крохотный слабый росток надежды...

С этими мыслями подошел я к табору, но там не оказалось ни единой живой души, все ушли на промысел в поисках хлеба насущного. Лишь в одном из шатров нашел я дочь вожака табора Николы, звали ее Оксаной. Она была беременна, на девятом уже месяце, передвигалась с трудом и потому почти не ходила гадать. Я стал перед ней на колени и сказал:

— Слушай, Оксана, хоть режь меня, хоть убей, но уважь — давай сходим к несчастной женщине погадать. Успокой, обнадежь ее чуть-чуть...

— А есть у нее хоть что-нибудь? — грустно спросила Оксана.

— Есть, небось, раз зовет, — отвечал я без особой уверенности. Село наше, как и все деревни в ту военную пору, голодало; если бы не фрукты да овощи, перемерли бы с голодухи.

— Небось, небось... Сам не видишь, я еле дышу!..

Она была недовольна и здорово рассердилась, но из уважения ко мне все же пошла ворожить.

И вот я, подобно мессии, явился перед бабушкой Ниной. Однако, увидев Оксану, она немного смутилась.

— Ты кого мне привел, бичо<sup>1</sup>? А ну как она сейчас разродится, где я возьму повитуху?

— Пусть тебя это не тревожит, — стал я успокаивать бабушку Нину, — свое дело она знает...

— Что она говорит? — спросила Оксана.

— Сказала, ты такая молодая, а уже умеешь гадать, — соврал я.

— Пусть на этот счет будет спокойна! Скажи ей, пускай принесет таз, воду, горсточку соли, золотое кольцо и три куса сахару.

Все это я перевел слово в слово Дзнеладзевоу хозяйке.

— Да она что, спятила, нена? — заголосила бабушка Нина. — Я уж три года сахара и во сне не видела!

Я перевел ее речь Оксане. Она расхохоталась от души и смеялась так долго, что ей чуть не сделалось худо.

Бабушка Нина принесла все, истребованное Оксаной, кроме сахара, потом еле сняла с указательного пальца правой руки обручальное золотое кольцо и тоже отдала гадалке. Кряхтя и постанывая, Оксана примостилась на корточках на полу у камина, налила в таз воды и высыпала туда горсточку соли.

— А без сахара получится? — удрученно спросила Дзнеладзева хозяйка.

— Без сахара нет! — отрезала Оксана.

— Что ж нам теперь делать? — стала сетовать бабушка Нина. — Как быть?..

Оксана, не говоря ни слова, порылась в лабиринтах своей необъятной пестрой юбки и откуда-то из потайного кармана извлекла три кусочка леденца.

— Господи, не лишей сладости и добра эту милосердную женщину! — благословила Оксану старуха и осенила ее крестным знамением.

Оксана долго размешивала воду рукой, пока не растаяла соль с леденцами, потом бросила в таз Дзнеладзевское кольцо.

Оно, звякнув о дно, стало сперва на бок, потом улеглось плашмя.

— Золото чистое? — спросила Оксана.

— Червонное! — гордо отвечала Дзнеладзева вдова.

— На кого гадать? — обратилась ко мне Оксана.

— На сына! На сына Гришу!.. — дважды повторила бабушка Нина, давая тем самым понять, что иных дум и забот у нее нет.

Оксана начала гадать и ворожила добрых полчаса, бормоча что-то по-своему.

— Ну, переводи же! — взмолилась бабушка Нина.

— По-цыгански говорит, — объяснил я, — не понимаю.

---

<sup>1</sup> Бичо — парнишка, мальчик.

Вдруг Оксана, перестав бормотать, сказала Дзнеладзевой вдове:  
— Вижу!.. Вижу! Жив... среди чужих он. Хочет уйти, его не пускают, в плену он...

— Вай, сынок,— застонала бабушка Нина,— лишь бы жив остался, пусть уж будет в плену...

— Голова обмотана белым бинтом, ранен, наверно... Но жив...

Дзнеладзева хозяйка с сомнением воззрилась сперва на меня, потом на Оксану, принесла письмо, продырявленное пулей и вручила цыганке:

— А с этим что прикажешь делать?

Увидев письмо с пятном засохшей крови, Оксана изменилась в лице.

— Ты куда меня привел, болван? — спросила она потускневшим голосом.

Не зная, что отвечать, я понурился, дожидаясь ее последнего слова. Долго, ах, как долго размышляла Оксана. Мы с бабушкой Ниной молчали, оторопело уставясь на гадалку.

— Письмо прислано через чужого человека,— вдруг заговорила она,— вот его-то и убила пуля...

Дзнеладзева вдова рухнула на колени перед Оксаной.

— Заклинаю тебя ребенком, которого ты ждешь! — взмолилась она.

Едва я перевел это Оксане, она вдруг окоченела от страха, зрачки ее расширились и побелели, а лицо стало как каменное. Она прикрыла живот руками, словно защищая его от неведомой напасти, потом принялась ласкать его и гладить, бормоча что-то по-своему. Мне почудилось, будто она молится горячо, отчаянно, вымаливая у непонятного цыганского бога прощение за содеянный ею тяжкий грех.

И тут на лицо ее снизошло неземное спокойствие, вернулся прежний румянец, и она с грустной улыбкой сказала мне:

— Передай этой старой карге: жив, жив ее сын... Вот ей знамение свыше — у меня начались схватки. Родится мальчик, и я назову его Гришей!..

Пока я переводил ее слова бабушке Нине, целовавшей босые ноги цыганки, Оксана заголосила, и крик ее потряс землю и небо.

За какие-то полчаса во двор к Дзнеладзевой хозяйке набилось все Зенобани — до последнего человека и весь цыганский табор.

Благоговейно, как божью мать с младенцем, подняли цыгане дочь своего вожака и Гришу...

И я, я тоже пошел за цыганами.

Всю ночь до рассвета вокруг огромного костра не прекращались пляски, песни, игры, люди пили вино, обнимались, целовались, кричали, бия себя в грудь, а кое-где и затевали драки.

Но суть не в этом и даже не в том, что обручальное свое кольцо бабушка Нина подарила Оксане, нет, главное случилось потом...

В одно прекрасное утро село пробудилось от сна, а из лапшейской роши у речки не слышать ни шума, ни голоса. Оказалось, ночью

цыгане снялись всем табором и в добавление к своим пожиткам прихватили кое-какую собственность наших сельчан: козу, двух поросят, телят, десятка два кур и разный домашний скраб — и исчезли с ним бесследно.

Сегодня и этот перечень и само добро многим, наверно, покажутся смехотворною малостью; но тогда... о, тогда это было целое богатство. Да за одного поросенка в то время могли человека убить.

О том, чтобы гнаться за цыганами, в общем, и мысли не было: вон какие у них горячие кони да телеги на четырех колесах... К тому же никто не знал, по какой дороге они укатили: по Озургетской или по Чохатаурской?

А покуда село бушевало...

Пока село суетилось...

Село совещалось...

К вечеру в Зенобани поднялся человек и принес такую весть: «Милиция в Чохатаури задержала цыган по подозрению в воровстве. И они, оказывается, во всем сознались. Так что пострадавших соседей из Зенобани вызывают в район».

Конечно, не вся деревня, но добрая ее половина решила все-таки ехать: кто и впрямь пострадал, а кто ехал забавы ради. Я, само собою, тоже собрался в дорогу.

Прибыли. Во дворе милиции стояли цыгане. Понурия, они не смели глядеть нам в глаза. Я боялся, что сердце мое вот-вот разорвется; от стыда я едва не плакал. И почему-то меня подмывало бросить односельчан и стать рядом с цыганами.

«Неужели они не понимают: бедолаги эти вовсе не воры, просто у них в крови тяга к чужому добру. Они и сами-то не хотят, а как пройдут мимо какой-нибудь вещи, она липнет к ним, как к магниту» — так думал я, но кто меня тогда спрашивал?

Наконец появился из своего кабинета начальник районной милиции Кикития Осепаишвили. Он незыблемо уперся руками в перила балкона и обратился к зенобанцам, точно военачальник, принимающий парад:

— Вы знаете этих людей?

— Знаем, дорогой, как не знать, — сказал, выступая вперед, старейшина села, мудрый Леварса Бережиани. — Они целых две недели стояли табором в Зенобани.

— А добро это ваше? — Кикития величественно указал рукою на жавшуюся у забора скотину и птицу и сложенное кучей в углу двора ворованное барахло.

Все набросились разом на свою животину и добро.

— Назад! Остановитесь, окаянные! — воззвал к землякам Леварса Бережиани. Люди как ошпаренные побросали назад вещи и выпустили живность.

— В чем дело, батона Кикития, зачем вызывал нас? — Старик обращался теперь к начальнику милиции.



— Да ты никак оглох, Леварса Бережиани? Я же вам человеческим языком говорю: опознайте-ка каждый свое имущество, а уж со злоумышленниками я сам управлюсь...

— Какое-такое имущество, батона Кикития?

— Но это, кацо, ваши вещи, не так ли? — Ум Кикитии Осепаишвили заходил за разум.

— Были наши, были, батона Кикития!

— Как так были? — Начальник милиции снова воззрился на сельчан.

— Сперва они были наши, батона Кикития, а потом мы обменялись с ними, с цыганами; кому досталась тренога для очага, кому — серп, кому — цепь... Арсен Гудавадзе, — обернулся Леварса к своему соседу, — ну-ка, которое тут твое имущество?

— Вон тот поросенок с обрезанным ухом! — Арсен протянул руку к своему поросенку.

— А разве ты не обменял его на треногу и цепь?

— Обменял, обменял. Как не обменять?

— Впервые вижу, чтоб треногу меняли на четвероногого, — усмехнулся Кикития.

— Это уж мое дело! — гордо отрезал Арсен и отошел в сторонку.

— Ну, а тот, второй поросенок? — спросил Кикития.

— У него нет хозяина! — крикнул кто-то из толпы.

— А коза чья?

— Откуда я знаю? — Так, хоть ее никто не тянул за язык, отказалась от своей любимицы Дзнеладзева вдова и тоже стала в сторонке. Но коза с громким блеянием бросилась за ней.

— С чего это вдруг, Нина, чужая коза так льнет к тебе? — ехидно спросил Кикития.

— Да она, видать, такая же дура, как я, — отвечала Нина Дзнеладзе; ухватясь за веревку, обвязанную вокруг шеи отчаянно упирившейся козы, она поволокла ее и привязала к задку цыганской повозки.

— Эй, женщины! — воскликнул Леварса Бережиани. — Этих кур, как я помню, вы отдали цыганкам, нагадавшим вам хорошие вести.

— Верно!.. Истинная правда! — загалдели соседки.

— Скажите-ка, люди добрые! Если у вас ничего не пропало, с какой стати неслись вы сломя голову сюда, в Чохатаури, среди ночи, в такую темень?

— Да мы решили, не стряслось ли какой беды, — стал оправдывать односельчан Леварса Бережиани. — Мало ли что, ведь война...

— И у этого упитанного тельца тоже, конечно, нет хозяина? — Кикития, как опытный стратег, попытался последним ударом выиграть бой.

— Теленок мой, — заявил Леварса, — и я подарил его цыганскому вожаку.

— С чего вдруг такие подарки, Леварса? Не иначе, этот цыган твой двоюродный брат? — тонко улыбаясь, спросил Кикития.

— А потому подарил, что дочь его родила сына в нашей деревне и нарекли его Гришей в честь ушедшего из Зенобани на фронт Гришайи Дзnelадзе...

Цыгане с изумлением глядели то на нас, то на начальника милиции. Они догадывались, происходит нечто удивительное, но что именно и как происходит, понять не могли.

— Хорошо,— сказал в конце концов начальник милиции,— если дело обстоит таким образом, возвращайтесь в свое Зенобани. Только не ждите, что я предоставлю вам автобус! Раз уж вы так одурачили меня, опозорили перед этими цыганами, ступайте назад на своих двоих.

И он повернулся к нам спиной.

— Поезжайте, дорогие,— обратился Кикития к вожаку табора Николе,— и простите, пожалуйста, нет у них к вам никаких претензий.

Мы вместе с цыганами вышли со двора милиции.

Долго еще стояли мы друг против друга. Потом от толпы цыган отделился Никола, молча подошел к Леварсе Бережиани и поцеловал его в грудь. Повернулся все так же безмолвно и забрался на козлы передней телеги.

И тут вдруг раздались дикие выкрики, свист, защелкали бичи, загудели колеса, и табор, безудержный, неумный, умчался прочь по Саджавахойской дороге.

Уехали мои черномазые весельчаки и драчуны, плясуны и гадалки, болтуны и воришки — уехали цыгане. Уехали, не оглянувшись, не моргнув глазом и увезли с собой наш скудный достаток. Но зато в роще на берегу речки Лаши они запалили такой жаркий костер надежды и веры, что он до сих пор колыхает в моей груди.

Уехали наши цыгане... А мы, опечаленные, но безмерно довольные своим неожиданным поступком и счастливые, потянулись пешком по долгому, нескончаемому Зенобийскому подъему.

## HELLADOS

- Джемал, скр-рип-скрипка!
- Янгули, сморкач!
- Джемал, навозник!
- Янгули, жмотина-грек!
- Джемал, козьявка!
- Давай-давай, баран, погоняй своих деток!
- Ишачья башка!
- Сам поводырь ишачий!
- Бабья мочалка!
- Имана су ине протикаса инека; Джемал!

Янгули — сын сухумского грека Христо Александриди. Сам тоненький, как щепка, а плечи широченные. У него прямой красивый

нос, глаза черные, как угли, руки, длиннющие — сущий орангутанг, стоит в рост, а лапы свисают до колен. Ему четырнадцать лет. Сверстники со всего квартала перед ним трепещут. Дерется как никто! Отделает разом двух или трех ребят для него плевое дело. Те и рукой-то шевельнуть не успеют. Ловок и быстр, как кошка; крепок, как кремь, и здоров на удивление. И зимой и летом ходит в черной сатиновой рубаше —, воротник нараспашку.

Живет он с отцом на Венецианском шоссе, у реки Чалбаш. Матери не помнит — она умерла, когда Янгули был еще маленький. Всего-то у них богатства — маленький, как ладонь, огород, одна-единственная корова да серый ослик. Продают соседям молоко, мацони \* и зелень, иногда приторговывают на сухумском базаре — вот и сводят концы с концами.

Янгули нигде не учится, помогает отцу по хозяйству; бывает, сходит на базар с осликом, навьючив на него нехитрый товар. Все свободное время он проводит на улице, а времени свободного у него хоть отбавляй. Он со своими ребятами собирается обычно у железнодорожного переезда.

Янгули останавливает мальчишек, возвращающихся из школы, обыскивает их, выворачивает карманы, отнимая — у кого добром, у кого силой — табак, мелочь, всякие блестящие побрякушки, цепочки, ручки, цветные карандаши, а назавтра продает все это по сходной цене бывшим владельцам. Продаст — и давай играть с ними на деньги, обыграет, конечно, и возвращается домой с туго набитыми карманами.

И так день за днем.

Четырнадцатилетний деспот держит в рабстве всех мальчишек Венецианского шоссе. А среди них и моего двоюродного брата Коку.

Да уж, Янгули, что называется, «бушка-баран», законный атаман всего квартала...

Мое знакомство с Янгули началось осенью тридцать восьмого. Тетя Нина, чтобы не дать мне почувствовать горечь сиротства, привезла меня к себе из Тбилиси и через день уже повела к Елене Михайловне Навродской, знаменитой на весь Сухуми учительнице музыки. Тетя Нина взмолилась, упав на колени:

— Бедного моего мальчика мама водила на скрипку! Пусть его матери, дорогой сестры моей, нет сейчас с нами, могу ли я допустить, чтоб сиротка хоть в чем-то был ущемлен. Умоляю, не откажите, возьмите его к себе в ученики. Я и за двойной платой не постою, только примите бедняжку.

Навродская сперва проверила мой слух, потом погоняла по нотной грамоте. Пригляделась к моим пальцам, ощупала мозоль под подбородком. И погрузилась в раздумья; судя по всему, она колебалась. Наконец вышла из комнаты и вернулась со скрипкой, расстроила струны и повелительным голосом сказала: давай-ка

---

\* Мацони — грузинская простокваша.

настрой их заново. Тетя в страхе усталилась на меня и, лишь когда я настроил скрипку, с облегчением перевела дух.

— Что ж, сыграй «Сурка» Бетховена! — сказала Елена Михайловна и, усевшись в глубокое кресло, собралась слушать.

Услыхав имя Бетховена, тетя совсем пала духом.

— Ах, уважаемая Елена Михайловна, нельзя ли... нельзя ли кого другого... чуточку помельче, — робко попросила она, вытирая платком пот со лба.

— Как, ваш мальчик не играет «Сурка»? — изумилась Навродская, подняв брови.

Я понял: вот он, желанный миг — одним махом могу я сбросить опостылевшее ярмо. С шести лет впрягла меня в него мама, и я влачу его на себе все эти годы... Достаточно мне сказать одно лишь чудодейственное слово «нет», и все сразу изменится! Не знаю, удрученный ли вид тети Нины, изумленный взгляд Навродской или непомерное тщеславие тринадцатилетнего мальчишки — короче, какая-то неведомая сила вложила мне в руку смычок... И комната наполнилась звуками простой и гениальной мелодии.

...И Елена Михайловна Навродская взяла меня к себе в ученики.

На обратном пути я увидел у железнодорожного переезда незнакомого паренька. Он сидел на мостовой, поджав под себя ноги, как паша, и обломком кирпича колол орехи.

— Здравствуйте, Нина Ивановна! — приветствовал он мою тетю, когда мы проходили мимо.

— Здравствуй! — сухо отвечала она.

— А где Кока? — спросил он.

— Кока в школе, — ответила тетя, — он не такой бездельник, как ты.

— А это кто же такой?

— Не твоего ума дело! — отрезала тетя Нина и подтолкнула меня вперед.

Паренек протяжно свистнул. Но мы как ни в чем не бывало продолжали наш путь.

— Эй, скрипка! — закричал он вдогонку.

Удивленный, я оглянулся назад. Прищурив один глаз и склонив факбок голову, он высунул язык и правой рукой водил по воздуху над левой, будто бревно пилил. Я понял, он передразнивает мою игру на скрипке — и от злости едва не поперхнулся.

— Обезьяна! — крикнул я и погрозил ему кулаком.

— Заходи завтра, — засмеялся он, — надо стекло распилить!

— А ты все хулиганишь? — в сердцах оглянулась тетя.

— Кто он такой? — спросил я.

— Да грек, Янгули звать. Его отец молоко нам носит. Смотри, уживи тебя с ним!.. Хулиган он, вечно на улице торчит.

Я опять оглянувшись, Янгули выбирал ядрышки из ореховой скорлупы и вызывающе ухмылялся.

Путь в тринадцатую школу, куда определила меня тетя, лежал через железнодорожный переезд. Встречи с Янгули теперь было не избежать. Примерно с месяц он не замечал меня. Окруженный своей свитой, играл в бабки или изображал городского брандмейстера, а свита — героев-пожарных.

Однако при моем появлении он тотчас для форсу нахлобучивал кому-нибудь из стоявших рядом мальчишек шапку на глаза, пинал другого ногой, а сам все косился на меня. Я же шагал мимо, всем своим видом показывая: мол, наплевать мне и на Янгули и на его братию. Но, сказать по правде, сгорал от любопытства, от желания сойтись покороче с ребятами и, как это делал Янгули, показать им свою силу и удал. Увы, покуда в нашем квартале я был чужаком — ни тебе дружков, ни приятелей; кроме двоюродного брата Коки, никто не вошелся со мной, и у меня не хватало духу запросто подойти к ним. Но я чувствовал: показному безразличию нашему приходит конец.

...Так и вышло, этот день наступил ровно через месяц.

Елена Михайловна занималась с другим учеником, а я, сидя в передней, ждал своей очереди.

На круглом столике стоял аквариум, там среди водорослей, красивых камешков и раковин, веером распустив плавники, скользили золотые рыбки и, забавно шлепая губами, выплевывали пузырьки воздуха. Сам не пойму отчего, я решил: они так беспокойно снуют по аквариуму, потому что их мучит голод. Тотчас достал из кармана завернутый в газету бутерброд — черный хлеб с сыром, я раскрошил его помельче и высыпал крошки в аквариум. Поначалу рыбки перепугались и попрятались за камешками и раковинами, затем, как бы угадав истинные мои намерения, покинули укрытия и жадно накунулись на угощение.

Ах, какой красивый сверкающий вихрь завертелся за стеклом! Аквариум кипел и волновался, точно маленький океан. Рыбки неистово метались, кружились, плясали. Потом вихрь постепенно утихомирился. И вот в аквариуме снова тихая заводь. Рыбки со вздутыми золотыми брюшками степенно плавали среди камешков и, друг за дружкой подплывая к стеклянной стенке, покачивались передо мной и тихонько поводили хвостами, как бы отвешивая благодарственные поклоны. Но тут одна из них, самая большая, перевернулась брюхом вверх и поплыла на спине. Я не поверил своим глазам. Другие рыбки, словно боясь отстать от нее, проделали то же самое. Вскоре все они плавали на спине, нервно хлопая жабрами... Я сунул руку в аквариум и попробовал перевернуть рыбок. Не тут-то было, они со злобещим упрямством опрокидывались на спину. Испугавшись, я быстро выдернул руку из воды. Мне стало ясно: беда непоправима! Минуту-другую спустя в аквариуме не осталось ни малейших признаков жизни. Отравленные золотые рыбки, бездыханные, колыхались на поверхности воды. Я содрогнулся от ужаса,

подхватил футляр со скрипкой и приготовился к бегству... Но вдруг распахнулась дверь, и из соседней комнаты показалась Елена Михайловна, она провожала ученика, давая ему на ходу последние наставления.

— Заходи,— сказала она мне, отпустив мальчишку.

Я точно прирос к месту.

— Да заходи же! — повторила она и, положив мне руку на плечо, легонько подтолкнула к дверям.

Я стоял как вкопанный.

— Ты, может, урок не выучил? — строго спросила она и, не дождавшись ответа, проследила за моим оцепеневшим взглядом... Тут началось такое — никому, кроме ихтиологов, этого не понять. Елена Михайловна, словно подломленная, рухнула в кресло, губы ее посинели, голос дрожал:

— Ты что натворил, мерзкий мальчишка?!

— Я... Елена Михайловна... Я не нарочно... Просто покормил их черным хлебом с сыром...

— Оправил! — вырвался у нее горестный стон. Она спрятала лицо в ладонях и зарыдала, как мать, потерявшая свое единственное дитя. Помню, я, бормоча нелепые оправдания, пытался хоть как-то утешить учительницу. Все было напрасно... Она встала, подошла к аквариуму, достала одну рыбку, другую, третью... Целовала их и снова опускала в воду, ласково приговаривая.

Потом повернулась ко мне. Я увидел искаженное страданием лицо, подбородок ее дрожал, из глаз текли слезы. Вдруг она с маху влепила мне пощечину, я едва устоял на ногах.

— Вон! Вон из моего дома, варвар! Чтоб ноги твоей здесь не было!

Подавленный, пристыженный, еле живой, шел я домой. У железнодорожного переезда Янгули и его братия играли в пожарных. Сердце влекло меня к ним. Да и домой пока возвращаться нельзя было. Подходя к ребятам, я еле ноги волочил, а вскоре и вовсе остановился, нагнул и притворился, будто завязываю шнурок на ботинке.

— Эй, ты, скрипка!

Узнав голос Янгули, я выпрямился и взглянул ему прямо в глаза.

— Чего надо? — спросил я.

— Иди-ка сюда! — Он поманил меня пальцем.

— Если надо, — сказал я, — сам подойди.

Янгули с удивлением поглядел на свою братию — те были потрясены — и не торопясь пошел на меня.

— Ты что, не знаешь, кто я? — гордо спросил он.

— Ну, знаю, — ответил я.

— Если знаешь, почему не подходишь, когда я зову?

— А кто ты такой, чтобы звать меня? — презрительно осведомился я и на всякий случай положил скрипку на землю.

Янгули снова с удивлением глянул на ребят. Они, все до единого, бросив игру, обступили нас.

— Ну-ка, Янгули, покажи ему, кто ты есть! — крикнул один.  
— Врежь ему, Янгули!  
— Подвесь по-свойски!  
— Посмотрим сперва, что он за птица! — сказал Янгули и небрежно потрепал меня по щеке.  
— Убери руку! — огрызнулся я, отпрянув в сторону.  
— Нет, вы посмотрите на него! — изумился Янгули.  
— Давай-давай смотри! — ответил я.  
— Папиросу! — Янгули требовательно протянул ко мне руку.  
— Не курю!  
— Деньги!  
— Нету!  
— А ну выворачивай карманы!  
— Сам сперва выверни!

Мальчишки зашептались. Янгули был ошеломлен, но виду не подавал и наклонился к скрипке.

— Проваливай! — сказал я и тоже протянул руку за инструментом. Но Янгули оказался проворнее; открыв футляр, он достал скрипку и протянул мне:

— Валяй-ка, распотешь братву!  
— Не играю!  
— А чего тогда таскаешь этот гроб? Задарма в ослы записался?  
— Эй, Петя, Фема, Курлик, Панчо, Тена! Вы хоть раз слышали скрипку? — спросил он своих дружков.

Они дружно заржали.

— Слышал, только по радио! — ответил наконец Петя и снова заржал.

— А ну, Янгули, сыграй нам!

Первым звук моей скрипки услышал я сам. Янгули легко замахнулся ею и плашмя огрел меня декой по голове.

— Зр-р-р...цхр-р — простонала скрипка. Гриф переломился, и дека, словно оторванная рука, повисла на струнах, издавая какой-то замогильный звук.

Вся шатия-братия так и покатились со смеху. Сердце мое остановилось, кровь ударила в голову, и, точно ватой, заложило уши. Я ничего не слышал и видел только корчившихся от хохота ребят, останки моей скрипки и торчавшую вперед тощую челюсть Янгули. По этой-то челюсти я и двинул что было сил похолодевшим кулаком.

Придя в себя, я увидел Янгули: он сидел на мостовой и, с изумлением уставясь на меня, растирал правой рукой щеку. Вокруг царил мертвая тишина. Я молча повернулся и пошел домой.

Вечером сломанную скрипку с футляром доставил мне на дом наш сосед Петя, правая рука Янгули, — бросил у порога и удрал.

Тетя Нина в ярости исцарапала себе лицо и прокляла Петю, потом скрипку, потом Янгули Александриды, меня и, наконец, мою маму.

— Чтоб тебе не вырасти... чтоб тебе коротышкой засохнуть, Петя-а-а!.. Пропади ты пропадом!.. Чего еще ждешь от тебя и твоего отца-зеленщика! Откуда вам знать, что это за скрипка, какая цена ей!

Для вас Страдивари с Паганини — пара дровосеков!.. Янгули Александриди — вот кого бы я придушила, четвертовала! Да что с него взять! О какой еще музыке толковать с невеждой, с подонком... он и вырос-то под ослиный рев!.. Нет, тут всему виной этот мерзавец, хулиган, поселившийся в моем доме! Его бы первого я убила... Пропавшая душа, бедная ты моя сестра Анико! Мало мне было своих несчастий, так ты еще на мою шею этого душегуба и злодея посадила!

Так наступил конец моей музыкальной одиссеи.

Назавтра Янгули и Петя дожидались нас с Кокой у ворот школы. При виде их сердце у меня сразу сжалось. Но я прошел мимо как ни в чем не бывало.

— Скрипка! — Голос принадлежал Пете.

Я остановился.

— Надо поговорить! — подойдя ко мне, сказал Янгули.

— О чем?

— Здесь не с руки! — Он оглянулся на ребят и учителей, выходящих из школы.

— А где? — спросил я.

— За железной дорогой, под мостом.

— Где угодно! — ответил я и пошел за ним.

Янгули шел впереди, следом мы с Кокой. Петя замыкал шествие.

— Ну, нам хана! — пал духом Кока.

Он ведь был на два года моложе меня и не раз отведал оплеух Янгули.

— Не бойся, хватит ныть! — Я успокаивал его, хотя у самого на сердце кошки скребли.

Когда мы спускались с насыпи, Кока едва не ударился в бегство. Но я поймал его за руку и дальше уже держал изо всех сил.

— Куда ты, бичо? Не позорься.

— Ты его еще не знаешь, — простонал Кока. — Измордует до полусмерти.

— Что ж, не убьет ведь, — сказал я.

Кока ковылял за мной, как бычок, обреченный на заклание.

Под железнодорожным мостом Янгули остановился. Огляделся по сторонам. Вокруг ни души. Остановились и мы.

— Вроде пришли, — сказал я. — Ну, чего тебе?

— Ты вчера опозорил меня на весь квартал, сшиб с ног одним ударом... Но бил неожиданно, иначе бы у тебя ничего не вышло. Ударил крепко. Я и встать сразу не смог, не дал тебе сдачи.

Спокойные откровенные слова его совсем сбили меня с толку.

— Я в нашем квартале всему голова, — продолжал он, — главарем и останусь.

— А я и не зарюсь на твое место, — чистосердечно сказал я.

— Нет, будь ты старше меня — другое дело. Но ты моложе на целый год. Двух главарей быть не может — ты или я!

— Сказано тебе: не желаю быть атаманом! — повторил я.

— Нет, так не пойдет, мы должны драться!

— Ладно, — я был согласен, — драться так драться.



— Только, чур, по-честному, — сказал Янгули.

— Что значит по-честному? — удивился я.

— Пете с Кокой не встревать, камней не хватать, упавшего не бить.

— Хорошо!

— Если моя победа, завтра у нас в квартале начищу тебе морду, — предупредил он. — Перед всеми, кто видел, как ты меня уложил.

— Будем драться до победы! — сказал я.

Он, ничего не ответив, скинул свою черную сатиновую рубашу. Я глянул на его широченную, богатырскую грудь, и сердце мое дрогнуло. Вдобавок я обнаружил над левым его соском татуировку: синими латинскими буквами было выколото слово «HELLADOS».

Янгули сказал что-то Пете по-гречески. Тот вроде заколебался. Янгули повторил, голос его звучал повелительно. Петя достал из карманов два здоровенных камня и нехотя выбросил их. Янгули посмотрел на Коку. Кока вывернул карманы, они были пусты.

— Начнем! — сказал Янгули.

— Начнем! — сказал я и бросил на землю ранец.

Вся драка заняла две-три минуты. Я бил крепко сжатыми кулаками. Янгули — раскрытой ладонью. Мои удары звучали глухо. Звон от его оплеух разносился далеко вокруг. Петя ободрял Янгули по-гречески, Кока подавал мне советы по-грузински:

— Головой!.. Врежь ему головой, Джемал!

Я и сам понимал, что значит хороший удар головой; но к Янгули было не подступиться. Гибкое, скользкое от пота тело Янгули все время выскальзывало у меня из рук. Грохнула еще одна оплеуха, и я почувствовал, как из носа у меня хлынула кровь.

Пока я рукой утирал кровь, Янгули вlepил мне новую оплеуху, и я сел на землю, точь-в-точь как сам он вчера; правда, я еще в силах был подняться, а он вчера встать не смог. Только подниматься мне не имело никакого смысла — бой явно проигран. Янгули подождал было, но, видя, что я не встаю на ноги, начал одеваться; и я снова прочитал на его груди слово «HELLADOS».

— Ну, до завтра! — сказал Янгули, и тут лишь я увидел: верхняя губа у него распухла и рассечена правая бровь.

— До завтра! — привстав, ответил я.

Янгули с Петей взобрались на насыпь и зашагали по шпалам. Мы с Кокой задержались под мостом.

— Ничего, — утешал меня Кока, — ты тоже отделал его неплохо!

— Все равно завтра избыю его! — сказал я.

— Лучше бы в зеркало на себя посмотрел, — вздохнул Кока.

— Что, — спросил я, — здорово лицо разнесло?

— Ну, прямо сдобная булка! — ответил он, пряча глаза.

— Магис деда ватире! \*

На этот раз тетя Нина не причитала и ограничилась холодными примочками, щедро прикладывая их к моему лицу.

---

\* Магис деда ватире — я мать его заставляю плакать.

А наутро она расколотила об голову Христо Александриди кувшин с мацони точно так же, как Янгули разбил мою скрипку. И посулила сгноить в тюрьме этого подлого хулигана, его отпрыска, за зверское избиение советского пионера...

Ну, а я на другой день не пошел в школу: залечивал свои синяки и ссадины. Через день у железнодорожного переезда собрались мальчишки нашего квартала — целая толпа. Нас с Кокой они встретили свистом.

— Что, Скрипка, здорово тебя причастили!

— Небось, отвяжешься от него? Или дождешься, пока не укокошат?

— Помни, тут тебе не Тбилиси!

Они уже знали о моем поражении. Потому-то вся братия и набежала сюда. Не было лишь Янгули. Я, не говоря ни слова, бросил ранец на мостовую и уселся в ожидании Янгули.

— Идет! — крикнул кто-то.

— Ну, братцы, сейчас начнется цирк! — подхватил другой.

— Здравствуйте! — приветствовал всех Янгули.

Тут он увидел меня, и глаза его от удивления стали совсем круглыми.

— Смотри, Янгули, булочка сама к нам явилась, — ехидно сказал Петя. — Съешь-ка ее по-свойски!

— С чем есть-то будешь — с маслом, с икрой?

Янгули не обратил на балагуров никакого внимания. Торжественно подняв руку, он утихомирил толпу и, как подобает вождю, обратился к своему народу с исторической речью.

— Ребята! — начал он. — К вам, о свободные сыны великого племени Венецианского шоссе, обращаюсь я, избранный вами вождь, Янгули Александриди. Видите? Вот там стоят перед вами бледнолицый тбилисский обормот и его двоюродный брат, сопливец Кока, изменивший нашему племени предатель родины. Этот бледнолицый чужеземец не пожелал вкусить от нашего гостеприимства. Мало ему великодушия нашего и долготерпения. Нет, подавай ему нашу священную землю, наши море и реку, все золото, серебро, прерии и бизонов...

— Хватит трепаться! — прервал я его. — Драться давай!

Янгули умолк и уставился на меня.

— Сейчас... Сейчас, братья, — начал он снова все в том же духе, — вы увидите наконец, как делают котлеты из бледнолицых...

Я опять перебил его:

— Не кривляйся, лучше начнем!

— Эй, ты, сморкач! — адресовался он к Коке. — Чего стал? Беги, вызывай «Скорую»! Чтоб через пять минут была здесь и подобрала твоего братца. Он уже будет инвалидом.

В толпе послышался хохот.

— Сегодня «Скорая» увезет тебя! — сказал я, вставая.

Ребята сомкнулись в круг. Янгули, как в прошлый раз, сказал что-то Пете по-гречески. Петя помялся немного и начал снимать пояс.

Я с беспокойством глядел на его ремень толщиной с палец. «Неужто, — промелькнуло в голове, — будут дупить ремнем? Петя вручил пояс Янгули и снова стал в круг. А сам Янгули горделиво обвел взглядом свой народ и заявил во всеулышание:

— Слушайте, я биться с бледнолицым двумя руками не желаю. Он будет повержен одной рукой. Иди сюда, Петя, и свяжи мне руку.

Братия разразилась восторженными возгласами. Мной овладели мрачные предчувствия. Янгули прижал левую руку к телу, а подошедший Петя обоясал его ремнем.

— Кончай из себя клоуна корчить! — Голос мой звучал как-то глухо. — Вытащи руку и дерись по-человечески.

— Нет, я до этого не унижусь!

— Тогда совсем не буду драться! — сказал я и поднял ранец.

— Что, испугался? — спросил Янгули.

— Нет, просто не хочу. Вытащи руку, я тебя так отделаю!

— Дерись, а то хуже будет! — Янгули стал выходить из себя. — Врежь разок, он сразу свалится, — шептал мне Кока.

Я упрямо замотал головой. Тогда Янгули подошел и с маху отпустил мне оплеуху. Лицо мое вспыхнуло, точно в него плеснули кипятком. Но я отвечать не стал. Янгули ударил еще и еще раз. Я почувствовал: бьет он не в полную силу, скорее для вида. Нет, не настоящая это драка. Поняв, что я ему так и не отвечу, Янгули остановился. Я, повернувшись к нему спиной, вышел из круга. Ребята безмолвно расступились передо мной.

— Эй, Скрипка! — раздался за спиной голос Пети. И вдруг я услышал звон пощечины: ладонь Янгули отпечаталась на Петиной щеке.

Я не оглядывался назад, потому что плакал и не хотел, чтобы ребята увидели мои слезы. Но зато я был убежден: в сегодняшней нашей стычке проигравшим остался Янгули.

Наутро — ни свет ни заря — я стоял уже у ворот Александриды. Старый Христо навьючивал груз на ослика. Янгули помогал ему. Заметив меня, он бросил осла и подошел к воротам.

— Жаловаться, небось, пришел? — спросил он, украдкой косясь на отца. Христо, стоявший спиной к воротам, не видел меня.

— Нет, драться будем! — ответил я.

— Кто там? — не оборачиваясь, крикнул отец.

— Да товарищ мой.

— Занят сейчас Янгули, на базар собирается! — Христо наконец оглянулся, узнал меня и изумился: — Что, помирились?

— Помирились — ответил я.

— Так-то оно лучше, — обрадовался Христо. — Вы оба, я вижу, хорошие мальчики.

Он пригласил меня во двор.

— Нет-нет, я спешу, — ответил я и повернулся к Янгули: — Ты когда вернешься с базара?

— Вечером.

— Буду ждать тебя под мостом,— сказал я и ушел.  
— Постой! — сказал он. Я остановился.— Нет, так не пойдет. Не можем же мы драться все время. Давай с завтрашнего дня ругать друг друга. Кто проругается дольше, тот и победит!

— Что ж, будь по-твоему! — согласился я.

На другой день мы с Янгули снова стояли среди обступивших нас кругом ребят и поносили друг друга на чем свет стоит.

— Джемал — ишачья башка!

— Янгули — огородный навозник!

— Поводырь ишачий!

— Ах ты, ишачок голосистый!

— Расквашенный огурец!

— Камбала безголовая!

— Паганини несчастный!

Мой арсенал иссяк. Янгули молча ждал — очередь была моя.

— Ну, ты что, онемел? Продуешь! — толкал меня локтем Кока.

Я ответил:

— Ничего больше не знаю!

Так продолжалось целых полгода. А там страсти понемногу утихли. И мы с Янгули сократили свой набор бранных слов. Вместо приветствия, поднимая руку, говорили друг другу:

Я: — Шени деда ватире, Янгули!

Он: — Имана су ине протикаса инека, Джемал!

Однажды солнечным днем мы с Кокой возвращались из школы. У переезда, как обычно, Янгули со своей братией развлекались, играли в пожарных. Заметив меня, Янгули бросил игру и направился мне навстречу. Боясь, как бы он не опередил меня, я выпалил:

— Янгули, шени деда ватире!

Он остановился и грустно поглядел мне в глаза. Я долго ждал ответа, но он молчал.

— Шени деда ватире, Янгули! — повторил я.

Янгули, опустив голову, повернулся и медленно побрел прочь. Я удивленно глядел ему вслед — Янгули возвращался домой.

— Видишь: убрался без единого слова,— сказал я Коке.— Теперь его атаманству конец!

— Нет, брат, не конец, а самое начало! — ухмыльнулся Кока.

— Это еще почему?

— А потому... Одолеет он тебя!

— Да? Чего ж он тогда не ругался?

— Понимаешь, вчера он спросил у меня про твою маму. Где она?... Я сказал, нет ее... Ну... ушла она от нас... Вот он и не стал отвечать на твоё ругательство.

— Почему ты вчера не сказал мне об этом? Сопляк!..

— Откуда я знал! — понурился Кока.

— Янгули! — закричал я.

Но он ушел далеко и не услышал моего голоса. А может, услышал, да только оборачиваться не стал.

С этого дня Янгули раз в десять вырос в моих глазах. Войне и вражде пришел конец. Но настоящими друзьями мы все же не стали. При встрече мы улыбались друг другу и поднимали руку — в знак приветствия. Правда, когда он вместо отца привозил нам на ослике молоко или мацони, мы перебрасывались словечком; но толковали все больше о ценах, о его отце да о сером ослике. Вот и все...

Однажды Янгули доставил молоко. Я встретил его во дворе и охнул... Он был неузнаваем: лицо распухло, под глазами синяки.

— Что с тобой? — спросил я взволнованно.

Чтобы Янгули мог кто-то избить в нашем квартале — нет, это невозможно! Наверно, подвернулся под горячую руку кому-нибудь из взрослых.

— Ничего! — ответил он и отвел глаза.

— Здорово тебя измордовали! — сказал я.

— Ничего! — Он улыбнулся.

— Ладно, говори — кто это? Один не справишься, пойдем на пару, — заявил я.

Янгули покачал головой: нет, мол...

— Привязывай осла, и пошли! — не отставал я. Кувшин с молоком я поставил на лестничную ступеньку и приготовился выступать.

— Нет, нам все равно его не одолеть! — горько улыбнулся Янгули.

— Не одолеть... нам вдвоем?! — Здесь, я чувствовал, задета моя гордость.

— Ни нам с тобой, ни всему Венецианскому шоссе...

— Да кто ж он в конце концов?!

— Мой отец, — сказал Янгули.

— Как, отец?

— Он.

— Но за что?.. И так сильно. — Я легонько приложил руку к его набрякшей щеке.

— Значит, за дело!

— Скажи хоть, что случилось?

— Сюда, в Сухуми, через три дня придет пароход из Греции. Все греки из нашей общины возвращаются в Элладу. И мой отец...

— Ну и что же?

— Ничего. Просто я не поеду с ним, не хочу уезжать. Отец говорит: там наша родина, земля предков, великая и прекрасная Эллада... Нас, говорит, призывает кровь отцов наших и дедов, и мы обязаны, понимаешь, обязаны вернуться к ним...

— А почему ты не хочешь уехать с ними? — искренне удивленный, спросил я.

— Да как объяснить тебе... — заговорил он наконец. — Матери я своей и не помню. А отец, он с утра до ночи в огороде копается, а то

и вовсе на заработки уйдет. Сколько помню себя, всегда торчал я на улице; я вырос на Венецианском шоссе. Моя Эллада, родная моя земля — это Сухуми... Венецианское шоссе, речка Чалбаш... Это Кока, Петя, Курлика, Фема... Черное море, железнодорожный мост... — Он поколебался мгновение и продолжал: — Это Мида... Мида и ты тоже...

Имя Миды Янгули назвал при мне впервые. Но я не спросил его, кто это. Мне все было известно от Коки: Мида — дочь гречанки, вышедшей замуж за абхазца. Девушки красивее нет во всем Сухуми.

— Ну как, понял? — спросил он и поглядел мне в глаза.

У меня мурашки забегали по всему телу: в жизни не слышал я подобных слов.

— Хорошо, а это как же? — Я распахнул рубаху на груди Янгули и прочитал вслух выколотое синей тушью слово «HELLADOS».

— Это наклка. А родина, Джемал, глубже, она в сердце.— Янгули положил руку себе на грудь.

Я еле проглотил подкативший к горлу ком,— казалось, он был величиной с кулак, и, пока смог вымолвить хоть слово, Янгули взял осла под уздцы и вышел со двора.

Через три дня утром, чуть свет, Янгули стоял у нашего крыльца вместе с неоседланным ослом.

— Отец все продал,— сказал он,— корову, дом, двор. А осла никто не покупает. Странные вы люди, считаете зазорным держать при доме осла. А зря! Милейшее животное... Работяга он и безобидный... Не могу я бросить его на улице. Греки-то наши уезжают... Уходу за ним никакого... Бросишь пучок травы, и все дела... — Янгули запинался, глотал слезы и все гладил ослика.

— Уезжаешь все-таки?

— Уезжаю... Может, оставишь его у себя?

— Конечно, оставлю.

— Не прогоняй его.

— Ты что, Янгули!

— И Нину Ивановну попроси, пусть не прогоняет.

— Будь спокоен, Янгули.

— Если что, Кока поможет... Уходу за ним никакого...

— Да, Янгули.

— Пучок травы, и все дела...

— Понял, Янгули.

— Его зовут Аполлон.

— Я знаю.

— Ты приласкай его иногда.

— Да, Янгули.

— Ну, мне пора... Пароход отходит вечером...

— Ладно, иди, Янгули.

— Прощай, Джемал!

— Я буду в порту, Янгули!

Он обнял меня и долго не выпускал из своих объятий. Потом отпустил вдруг и убежал, не оглядываясь. Он бежал сломя голову, словно спасаясь от настигавшей его смертельной опасности.

Вечером в порту собрался ведь город.

Было много цветов, гремел оркестр; люди пели, плясали, махали платками. Повсюду слышалось: «спасибо», «до свидания», «прощай»; но больше, чем слов, пожалуй, было слез.

Жители Сухуми расставались с греками — кровью своей и плотью. Отъезжающие уже поднялись на белый, как облако, корабль «Посейдон» и, стоя на палубе, махали руками, кричали что-то попеременно по-гречески, по-русски, по-грузински, по-армянски, по-абхазски... Огромный белый «Посейдон», повернувшись кормой к берегу, чуть покачивался на легкой зыби, словно кланялся, тоже прощаясь с нами.

Мы с ребятами, прижавшись к ограде причала, не сводили глаз с корабля, пытаясь найти Янгули среди столпившихся у борта греков. Вдруг я увидел его. Он был все в той же черной сатиновой рубаше с распахнутой грудью. Янгули стоял впереди отца, у самого борта, и мне показалось, что отец держит его за руку, чтобы он не спрыгнул с корабля.

— Янгули! Янгули! — завопил я и замахал руками.

Долго вглядывался Янгули в стену провожающих и под конец, наверно, по голосу нашел меня. Тогда он поднял повыше обе руки и закричал:

— Джемал, эго агапо имана су!.. Джемал, эго агапо имана су!..

«Джемал, я люблю твою мать!» — кричал он по-гречески, и мне казалось, будто он поет. Нет, я не в силах был больше слышать эту его песню, смотреть на него. Я повернулся спиной к кораблю и, плача, побрел к дому.

На третий день море выбросило на берег близ устья реки Келасури тело молодого парня. Вернее говоря, его вытащили рыбаки-староверы и, положив тело на песок, позвали купавшихся неподалеку мальчишек: а ну как мы опознаем утопленника...

Ах, как изуродовано его лицо! Никто не может опознать покойника. И вдруг я... Я узнаю его: на груди у него над левым соском синей тушью выколото слово «HELLADOS».

Я бегу без оглядки, еле переводя дух, пробегаю весь длинный пляж, набережную, взбираюсь на железнодорожную насыпь, несусь по Венецианскому шоссе и, как безумный, врываюсь в дом.

— Господи, что с тобой, бичо?! — пугается тетя.

— Тетя Нина... Тетя Нина... — Мой голос срывается. — Янгули... вернулся...

Падаю на колени и, уткнувшись лицом в ее подол, плачу навзрыд.

## КАНЦИ \*

Поистине сказочную свадьбу справил Гугуни Джаиани своему сыну, Имедо Джаиани. Десять бычков, семьдесят поросят, дюжина козлят и население целой куриной фермы были в тот день отданы на заклание в Зугдиди. На поросшем свежей зеленой травой дворе разбили огромный сефа — шатер длиной в сто двенадцать шагов.

Веселье и шум пошли такие, что небо, как говорится, решило пешком сойти на землю. После полудня, само собой, не считая женщин, ровно шестьсот молодых восседали за пиршественным столом. И когда тамада Иродион Шелегия велел поднять канци вместимостью в литр за здоровье непе и дедофали — жениха с невестой, — лишь за этот первый тост было выпито разом шестьсот литров вина.

— Нет, даже сам князь Дадияни не смог бы, наверно, представить себе такое пиршество! — сказал консультант свадьбы девяностолетний Рема Чиковани, поглаживая усеянные виной росой белоснежные усы. — Сорена мечонгуре цирефи? \*\* — спросил он потом. И когда к нему подвели «мечонгуре цирефи», заказал им песню «Дидоу нана» («Ой, мама»), уселся поудобнее в кресло, смежил веки и, утопая в неге, стал наслаждаться пением.

Небо, видно, и впрямь ступило на землю. Дождь перестал. Солнце выглянуло из-за выжатых туч и пламенеющим взором уставилось неотрывно на Зугдиди и на двор Джаиани, словно впервые увидев земную твердь.

— А еще говорят, бога нет! — вырвалось у обрадовавшегося солнцу тамады.

Рядом с Имедо Джаиани сидела Татулия Еркомаишвили — ангел, похищенный им с похорон Агати Акубардия, матери Шатунии Цикорадзе из Меликадури; и Имедо, млея от счастья, так и тянулся к солнцу, сошедшему ради него на землю Зугдиди.

Это только так говорится — «похищенная»! Татулия по своей собственной воле вышла за Имедо Джаиани. Слыханное ли дело — силой умыкнуть девушку из Гурии в Мегрелию. Однако вот уже месяц не могут Джаиани умиротворить заносчивых гурийцев. И даже эта сказочная свадьба — увы! — проходит без их участия. Я уж не говорю о макари — невестиных дружках \*\*\*, но даже старая подру-

---

\* Канци (груз.) — рог для вина.

\*\* Сорена мечонгуре цирефи? (мегрельский язык — диалект) — Куда подевались девушки чонгуристски? (чонгори — груз. — 4-струнный цинковый музыкальный инструмент).

\* \* \* Макари (груз.) — дружки невесты, парни из ее семьи, по обычаю сопровождающие новобрачную в дом мужа.



га \* и та не провожала Татулию Еркомаишвили из Гурии сюда на свадьбу. А может, и ни к чему Еркомаишвилиевой дочке и подруги и свита: вот она, гляньте, как недавно проглянувшее солнышко, сидит рядом с мужем — прекраснейшее олицетворение не только гуриек, но и всех женщин на свете. О да, ее глубоко оскорбило поведение родителей, но держалась она гордо, независимо, ничем не выдавая бушевавших ее чувств. И каким зорким глазом надо было обладать, чтоб приметить в улыбке, озарявшей прекрасное ее лицо, скрытую грусть.

«Ах, гурийцы, гурийцы! — думала она. — До каких же пор будете вы не замечать моего отсутствия? Долго ль еще станете пренебрегать мною? Ведь все равно, рано или поздно, вы помиритесь со мной. Вот уж когда расквитаюсь я за все оскорбления, нехорошие вы гурийцы»...

Но тут полог, закрывавший вход в сефу, раздвинулся, и появился brave молодой саженного роста, весь промокший, с налипшими на лоб волосами.

— Мир этому дому! — сказал он. И, как положено всякому Голиафу, рослому и сильному, расплылся в доброй улыбке, неловко пряча за спиной огромные ручки.

— С ума сойти! — сказала невеста, приветав со стула.

— Кто бы вы ни были, батано, — вышел ему навстречу хозяин дома, — прошу заходить. А если еще назовете себя, вовсе нас порадуете.

— Меня, батано, зовут Сатутия Шаликашвили. Я — макар нашей невесты, только вот запоздал, — неловко улыбнулся гость. — Но тут не моя вина: надо же было небу именно сегодня потоком обрушиться на землю. Хочешь не хочешь, пришлось задержаться.

— Слава богу, хоть один гуриец объявился: значит, не всех вас воротит от нашего стола, — с улыбкой сказал ему Гугуни Джаиани; но в улыбке, как и в словах его, чувствовалась укоризна.

— Вы уже, батано, не ругайте моих гурийцев, — попросил Сатутия. — А всю их долю вина я выпью один; может, хоть этим искуплю нашу вину.

— Парень-то ты крепкий, батано Сатутия, да только не прихвату ли малость? — с сомнением поглядел на него хозяин.

— Нет, батано, истинно молвлю, — отвечал Шаликашвили.

— Ну, дай бог тебе счастья.

— Пусть выпьет все пропущенные тосты и еще один канци! — возгласил тамада. Он хоть и пошатывался уже, но дела не забывал и послал Сатутии свой литровый рог.

— Повремените, батано, я мигом, — сказал гость и направился к непе и дедофали — жениху с невестой. Сперва подошел он к дедофали, прижал ее голову к своей груди шириною с доброе поле

---

\* Обычно подруга, годами старше невесты, провожает ее из родного дома в дом мужа.

и поцеловал в лоб. Потом, повернувшись к непе, он долго глядел на него. «До чего же невзрачен,— думал гость,— но глаза умные, добрые и хитрющие». А вслух сказал: «Поздравляю, брат». Поздоровался за руку, тоже прижал его голову к груди, правда, целовать не стал. И сразу принял рог от виночерпия.

— Для начала, батоно, выпейте за здоровье непе и дедофали,— распорядился тамада.— А там помаленьку догонишь нас.

— Как ваше имя? — спросил Сатутия.

— Наше? — переспросил тамада, прижав к груди ладонь.

— Да!

— Ироди, Ироди Шелегия, батоно!

— Высокочитимый Иродион, дорогие гости, соседи, друзья и недруги! Месяц уже, как солнце ушло с небес Озургети, и не видим мы больше его света... — так начал Сатутия.

— Да-да, погода последнее время ужасная,— подхватил тамада.

— Угасло солнце,— сокрушался гость,— ждали мы, ждали: а ну как взойдет снова?! Куда там! Да и кто мы такие, чтоб солнышко про нас помнило?..

— Без солнца... Это, небось, и на урожае отразится,— поддержал кто-то Сатутию Шаликашвили.

— Само собою: вон, у нас, в Гали, все плоды с ткемали попадали,— посетовал гость, сидевший напротив Сатутии.

— Плохи, выходит, ваши дела,— сочувственно произнес его сосед по столу.

— Но вот вы явились, и сразу распогодилось,— сказал Сатутии хозяин,— солнце вышло, даже потеплело...

И Гугуни Джаяни в знак благодарности погладил гурийца по плечу.

— Не заслужил я вашей ласки, батоно,— отвечал Сатутия,— солнце само пожаловало к вам. Да будь моя воля, я бы ему и глянуть в вашу сторону не дал.

— Э-э, большое дело — сколько у кого-то там плодов на ткемали или на кукурузе початков! Вы, если можно, выпейте за здоровье жениха и невесты,— напомнил тамада запоздалому дружку его прямую обязанность.

— Я говорю о солнце,— продолжил свою речь Сатутия,— солнышко наше сегодня венчается с месяцем. И мы с вами свидетели их свадьбы... Разродиться потом солнышко, и тесно станет в небе Зугдиди — всюду солнца и луны. Потом не хватит им места на небе, сойдут ножками на землю, начнут и здесь множиться без счета...

— Ваша фамилия, уважаемый! — прервал тамада вставшего в экстаз гостя.

— Шаликашвили! — простодушно ответил Сатутия.

— Вах, я-то думал, вы — Коперник,— сказал Ироди Шелегия. Все, слышавшие его, рассмеялись. Один лишь Сатутия не смеялся.

— Да, батано,— согласился он,— я — Коперник.

— Тогда, извините, напомню: вы-таки не выпили за жениха с невестой.

— А о чем же я говорю все время? — искренне удивился Сатутия.

— Но где тост? — настаивал тамада.— Правда, вы еще не сообщили нам, что земля круглая и день и ночь крутится вокруг своей оси... Снова раздался смех. Гуриец окаменел.

— Кончай, Сатутия, выпей наконец и садись,— попросила Татулия бывшего своего соседа и друга детства.

— Да-да, дорогая,— улыбнулся ей Сатутия,— сейчас сяду и замечу за этим столом всю твою родню.

Он поднес канци к губам и единым духом осушил его.

— Да ты, брат, и впрямь крепкий орешек! — похвалил его тамада.

— Что есть то есть! — подтвердил Сатутия.

— Это мы посмотрим, когда ты нас догонишь! — крикнул кто-то.

— И что для этого нужно? — спросил Сатутия.

— Даданиевский канци! — воскликнул директор зугдидского краеведческого музея Зелимхан Гвамичава.

— Хорошо, батано,— улыбнулся Сатутия,— даданиевский ли, багратионовский ли канци, мне все едино.

— Он что, болван, хвастун или уже упился вконец? — спросил жених у Татулии.

— Очень умен,— отвечала она, вдруг заливаясь краской,— до смешного скромн и трезв, как стеклышко.

— А даданиевский рог-то хоть видел в глаза?

— Не видел, так увидит,— холодно сказала невеста.

В сефу вкатили убрannую бархатом тележку на четырех колесах. Даданиевский канци возлежал на бархате, как подгулявший браваый вояка — разнаряжен в пух и прах, талия охвачена серебряным поясом с кинжалом. Въехав в шатер, он тотчас уставиcя отверстой, как у кита, пастью на гостей, изумленных его статью.

— Наполнить! — велел тамада.

Двое виночерпиев бросились к канци. Тот проглотил кувшин и вдобавок бутылку «Оджалеш» — всего четыре литра.

Как бедуин, заблудившийся в пустыне и умиравший от жажды, прильнул Сатутия к канци. И мгновенно весь стол с шестьюстами пирующих молодцов превратился в одно огромное любопытное око.

«Ну, и силач же, оказывается, этот сукин сын!» — сказал удивленный даданиевский канци. Его, не отрывая от уст, осушил прибывший в Зугдиди на свадьбу в дом Джаиани Сатутия Шаликашвили. Осушил и лихо покатыл по столу, а сам улегся рядом с канци.

— Он ваш, молодой человек! — вырвалось у потрясенного Рема Чиковани. Старик даже встал с кресла.

— Кто, батоно? — спросил с удивлением Сатутия и огляделся вокруг.

— Даданиевский канци, он ваш, молодой человек! — повторил Рема Чиковани.

— Что вы! — смутился запоздалый макари. — Как можно...

— Слово батоно Рема — закон, — подтвердил Гугуни Джаиани. — Да и на самом канци написано: «Принадлежу тому, кто осушит меня».

— Нет, батоно, к чему мне один канци, разве я единокор? Если найдется у вас второй такой же, несите — я выпью и его. А уж таких рогов, ей-богу, стоит взять! — рассмеялся захмелевший и потому склонный к шуткам Сатутия.

— Другой такой канци взять негде, батоно. Этот единственный на свете; в нем вся история князей Дадани, и эксперты оценили его в миллион, — сказал, заикаясь, Зелимхан Гвамичава.

— Ну, коли нет другого, пусть остается здесь. Все равно моя беда и за миллион от меня не отстанет. Зачем тащить его, одинокого, в Гурию, — заартачился Сатутия.

— Нет уж, молодой человек, мы не нищие! — обиделся хозяин. — Нас жалеть не надо! Слово есть слово.

— Ладно, наливайте еще раз. Осушу его снова, тогда уж возьму!

— Да, Сатутия явно перегнул палку.

— Наполнить! — рявкнул разгневанный Рема Чиковани.

— Не надо, остановись, Сатутия, — попросила своего макари поблдевшая невеста.

— Не бойся, дорогая, я не опозорю тебя, — пообещал макари и во второй раз поднял рог.

Снова бросились к канци виночерпии, и тот заглотал четыре литра «Оджалеши». Опять шестьсот молодцов слились в один огромный глаз. А гость прильнул губами к рогу и...

«Да, он и впрямь богатырь, этот сукин сын!» — хотел было воскликнуть ошеломленный даданиевский канци, распахнув еще шире свой зев. Но осушенное нутро его было пусто; пересохший язык не в силах и шевельнуться. Он улегся на убранную бархатом колесницу и заснул мертвецким сном.

— Он твой, сынок, твой! — сказал прослезившийся Чиковани.

Потом обнял улыбавшегося потного Голиафа — у того помутились и взор и разум, — крепко расцеловал его и бережно усадил на стул.

— Сорена мечонгуре цирефи? — вновь осведомился старик. К нему подвели чонгуристок, и он сказал им: — Ступайте за ним следом и пойте ему до утра колыбельные песни.

Сказал и, убогавшийся, опустился в кресло.

Два молодца проводили в гостиную едва волочившего ноги Сатутию Шаликашвили.

— Простите, батоно Рема, но чью же собственность вы даете унести в Гурию этому спятившему голодранцу? Забыли, небось... Да ведь наш

хозяин, Гугуни Джаиани, на один лишь — один! — день выпросил этот рог в музей! — Зелимхан Гвамичава чуть не плакал.

— Дуралей ты! Разве кто-нибудь отделил насовсем Самегрело \* от Гурии? Канци должен принадлежать достойному. Так написал на нем сам великий Дадиа \*\*; значит, так оно и будет.

— Написать-то Дадиа, написал, только рог этот, батоно Рема, министерством культуры за мной записан и цена ему миллион. Что же мне прикажешь делать? Вон, и в прошлом году Латария чуть не отдал канци этому придурку Карселадзе из Лечхуми \*\*\*. Думаете, сердце у меня железное? Говорю вам, оно больше не выдержит, разорвется, и в один прекрасный день вы погуляете на моих поминках! — расплакался всерьез Гвамичава.

— Да отстань ты! Неужто мы отдадим из нашего дома дадианиевский канци! Не бойся, отыщется богатырь, который осушит рог. А нет — тоже не беда, — сам осушу его, — гордо заявил Рема Чиковани и небрежным жестом отстранил директора музея.

— Вся надежда на вас, — сказал удрученный Гвамичава и, вернувшись на свое место, продолжал втихомолку лить слезы...

В шесть утра Сатутия Шаликашвили уже сидел на тахте, от стыда он не смел выйти из комнаты. Да он еще и не вполне пришел в себя: никак не мог вспомнить, что, собственно, натворил вчера. Припоминал лишь, будто выпил прорву вина и вел себя вызывающе; но что вытворял, кого обидел, хоть убей, вспомнить не смог.

Итак, Сатутия, понурясь, сидел на тахте, крепко стиснув огромными ручищами бедную свою голову, и не решался выглянуть из гостиной.

Кто-то постучал в дверь. Сатутия вконец оробел, сжался в комок и стал вдруг совсем маленьким и невзрачным. Вошла Татулия, но он даже не поднял головы.

— Доброе утро, — сказала она и села рядом.

Он молчал.

— Что, опозорил я тебя? — спросил наконец Сатутия.

— О чем ты говоришь?

— Опозорил, сознайся?

— Да нет же, Сатутия, наоборот — прославил. И я никогда этого не забуду, до гроба буду тебе благодарна.

— Ты это всерьез?

— Ну, конечно, конечно, всерьез, Сатутия. Выходи, тебя ждет вся свадьба.

Сказала и своей маленькой ручкой коснулась огромной его головы.

— Нет, Татулия, теперь мне лучше уйти. Тебя повидал, чего же еще...

---

\* Самегрело — Мегрелия.

\*\* Дадиа — т. е. Дадиани.

\*\*\* Лечхуми — горная область в Западной Грузии.

- Что ты болтаешь, Сатутия?  
— Да разве кутить пришел я сюда, моя дорогая?  
— А чего ради тогда явился? — изумилась Татулия.

Снова пал духом Сатутия, и все мысли в голове у него перемешались.

Тяжкое молчание так затянулось, что у Татулии в предчувствии чего-то ужасного замерло сердце.

— Я люблю тебя! — вырвалось наконец у Сатутии; голос его, казалось, доносился откуда-то издалека. — Люблю с самого первого дня творения. Как же я, глупец, не сумел хоть намекнуть тебе...

«Замолчи!» — хотела сказать Татулия, но оцепеневший язык ее не шевелился. Тогда она стала гладить его по лицу.

Сатутия легонько отвел ее руку.

— Да как же молчать мне, цав \*! Да обмолвись ты хоть словечком что собираешься замуж за этакого... Я... я бы... Ты была святыней и храмом всех озургетских парней...

— А кто мне сказал об этом? Кто?! — спросила, широко раскрыв глаза от удивления, Татулия; голос ее звучал чуть слышно.

— Кто бы посмел, девочка моя, сказать тебе такое? Ты ведь как солнышко ясное стояла над нами. А разве бывало, чтоб солнце спрашивало у людей, когда ему взойти, когда закатиться...

— Бедный мой, бедный Сатутия!

Он бережно взял маленькую теплую руку Татулии и прижал к своей щеке.

— Вернись, дорогая, вернись домой. Ты мое солнце, мое дыхание... Чего теперь стоит моя жизнь...

Голос его дрогнул.

— Нет, не говори так, Сатутия, не надо. Тот парень, что сидит рядом со мной, мой муж, а я его жена и люблю его больше жизни...

Она попыталась рукой закрыть ему рот.

— Об этом-то я и плачу, — сказал Сатутия.

Рема Чиковани открыл дверь гостиной и застыл на пороге как вкопанный. Голиаф сидел на тахте, прижав смуглую ручку невесты к своей щеке, по которой текли слезы величиной чуть ли не с эту маленькую ладонь.

— Ах! — вскричал он. — Что видят глаза мои! Все вроде повидал я на свете, но чтоб такой мужчина и вдруг лил слезы, ей-богу, не видывал. Встань, мой мальчик, и пойдем: тебя дожидается канци Дадияни, ждет весь народ!

— Да разве ради рога или застолья пришел я сюда, батона Рема? — печально спросил Сатутия и поднял на Чиковани глаза, полные слез.

У Рема Чиковани как-то нехорошо дрогнуло сердце, но он, не подав виду, завел речь о другом:

---

\* Цав (гурийский диалект) — девушка, девочка.

— Нет, что ни говори, юноша, а вчерашний твой подвиг потряс всю свадьбу. Дважды подряд даже сам Дадияни не осушал свой канци. Эх, сподобил бы тебя господь родиться сто лет назад...

— Сто лет ли назад, сегодня ли, батона Рема, господу богу до меня нет дела...

— Не горюй, сынок, — опять повернул на другое Чиковани, — в любви и ласке у твоей Татулии здесь недостатка не будет.

Татулия встала и молча вышла из комнаты.

— Оттого-то и плачу я, батона Рема, что будет у нее через край и любви и ласки, — сказал консультанту свадьбы, девяностолетнему Рема Чиковани, двадцатилетний Сатутия Шаликашвили, запоздалый макар. Сказал и поднялся с тахты.

— Что ж, пожалуй, пора и тебе, сынок, — произнес наконец после долгого молчания Рема Чиковани, — ступай домой.

— Да, я уйду, — отвечал Сатутия.

— Об одном прошу, сынок, — сказал Рема Чиковани, — иди с миром... С миром и разумением...

Гость отворил дверь, прошел по галерее, потом по двору, миновал узенькую улочку и, выйдя на большую дорогу, глянул вверх, на небо. Весь небосвод заполнили светила: всюду солнца и луны — и нет им числа...

Никто ничего не заметил. Сказочная свадьба продолжалась своим чередом. Сатутия Шаликашвили направил шаги вдаль по матушке-дороге. С пустыми руками пешком возвращался он к себе в Гурию.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Хазарула . . . . .	3
Мать . . . . .	10
Цыгане . . . . .	18
HELLADOS . . . . .	25
Канци . . . . .	39

В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» В 1982 г. ВЫШЛИ  
СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

1. Н. ДОРИЗО. Стифы.
2. С. БАБАЕВСКИЙ. Последняя. *Повесть.*
3. Л. ОШАНИН. Из лирики разных лет. *Стихи.*
4. Г. КОВАЛЕНКО. Поезд идет на целину. *Повесть.*
5. В. ПОЛТОРАЦКИЙ. На быстрине. *Стихи.*
6. А. МОСКАЛЕНКО. Мир Кристины и мир Ингрид.
7. Б. УКАЧИН. До смерти еще далеко. *Повесть.*
8. Д. ЕВДОКИМОВ. Семейный альбом. *Повесть.*
9. И. МАШБАШ. Цвет ветра. *Стихи. (Пер. с адыгейского).*
10. А. ГУБЕНЬЯ. Вызов брошен. *Повесть. (Пер. с английского).*
11. В. СИДОРОВ. Ключ.
12. В. ГАНИЧЕВ. Во имя потомков.
13. Н. ХИКМЕТ. Я совершил путешествие. *Стихи.*
14. С. ВЛАСОВ. «И невозможное возможно...». *Очерк.*
15. М. ЧИСЛОВ. Поэма набирает высоту. *Статьи.*
16. Б. ПОЛЕВОЙ. С удостоверением «Правды».
17. Ю. ГРИБОВ. Сельский двор. *Очерки и новеллы.*
18. И. БОЧАРОВ, Ю. ГЛУШАКОВА. Венецианская пушкиниана.
19. В. ХОХЛОВ. Начало дня. *Очерки.*
20. С. САРТАКОВ. Лист Мебиуса. *Рассказы.*
21. Н. ИВАНОВА. Три встречи. *Очерки.*
22. БОЛЬШОЙ ИВАН. Книга об И. И. Анисимове.
23. Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. Мои года. *Стихи.*
24. В. ВИКТОРОВ. Олимпиады, олимпиады!..
25. Е. ДУБРОВИН. Ну доживи до понедельника. *Рассказы.*
26. Г. АББАСЗАДЕ. Хрустальная чернильница и синие «Жигули». *Рассказы. Перевод с азербайджанского.*
27. Н. БЫКОВ. Это произошло в Талсах. *Очерки.*
28. А. РОМАНОВ. Как это было в старину. *Рассказы.*
29. С. ШАВЛЫ. Родные просторы. *Стихи и поэмы. Перевод с чувашского.*
30. Ю. ПОПОВ. По городам и странам. *Очерки.*
31. Ф. ЧУЕВ. Гроздь муската голубая. *Стихи.*
32. О. НЕМИРОВСКАЯ. Боттичеллиев контур. *Очерки.*
33. Л. ТАТЬЯНИЧЕВА. Материнская гордость. *Стихи.*
34. С. БАРУЗДИН. Елизавета Павловна. *Повесть.*
35. Г. БЕРЕГОВОЙ. О времени и о себе.
36. ПИКНИК. Рассказы индийских писателей.
37. И. АЛЬБИРТ. Искры. *Стихи.*
38. В. БОЛЬШАКОВ. Пружины «Польского эксперимента».
39. А. ГОЛИКОВ. На крыльях Аэрофлота. *Очерки.*
40. Л. КОРНЕЕВ. Курсом агрессии и расизма.



41. Е. ПЕРМЯК. Замок без ключа.
42. П. ПРОСКУРИН. Черные птицы. *Повесть*.
43. С. СЕВЕРНЯК. Апрельская рапсодия. *Рассказы и очерки*.
44. Ю. ЯКОВЛЕВ. Игра в красавицу. *Рассказы*.
45. Ю. ФЕДОРОВ. Сто шагов на брата. *Повесть*.
46. Р. КОРН. Воспоминания.
47. В. ГОРБАЧЕВ. Временем назначена цель. *Статьи*.
48. Н. ПРОЖОГИН. Встречи с Ренато Гуттузо.
49. М. КОРЮН. Теван-лежебока. *Сказки*.
50. А. ТОКОМБАЕВ. Вижу молодость мою. *Стихи. Перевод с киргизского*.
51. Ф. РАСПОРКИН. Еремей. *Повесть*.
52. Н. ДУМБАДЗЕ. Хазарула. *Рассказы*.

**Нодар Владимирович Думбадзе**

## **ХАЗАРУЛА**

Редактор М. М. Жигалова.

Технический редактор О. Н. Ласточкина.

---

Сдано в набор 05.11.82. Подписано к печати 31.01.83. А 00620.  
Формат 70×108<sup>1/32</sup>. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная  
печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,00. Тираж 100 000. Изд. № 3021.  
Зак. № 3428. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты  
«Правда» имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва, А-137,  
ул. «Правды», 24.